

АДЕЛЬ АЛЕКСЕЕВА

ПРОЩАЙ И БУДЬ ЛЮБИМА



Адель Ивановна Алексеева

Прощай и будь любима

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23590355

А. И. Алексеева. Прощай и будь любима: ООО «ТД Алгоритм»; Москва;

2016

ISBN 978-5-906817-43-3

Аннотация

«Прощай и будь любима» – роман о жизни московской семьи в XX веке. У старшего поколения самые драматические истории проходят в 1920-е годы. На младшее поколение выпали не менее драматические события 1950-х годов. А для главной героини Вали Левашовой вся взрослая жизнь сопровождается то страстью, то сомнениями, в которых «виноваты» любовь и разлука, поклонники и одиночество...

События в книге самые что ни на есть реальные, и потому им легко вписаться в набоковскую мысль: «Да, жизнь талантливее нас. Куда нам до нее! Ее произведения непередаваемы, непередаваемы...»

Содержание

Пролог первый	5
Пролог второй	9
Глава первая, послевоенная	16
Наивные гордячки пятидесятых	16
Чужая воля – и своя	34
Понятливый – и упрямый. Югославское дело	45
Человек Богу не удался?	73
Вечером вокруг буржуйки	85
Глава вторая. Неведомые тайны. Сталин	93
«Сальери» тот – «Сальери» этот	93
Силуэт на фоне солнца	106
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Адель Алексеева

Прощай и будь любима

© Алексеева А., 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

*** * ***

Пролог первый

...Когда-то, в годы первой молодости и робкой советской юности, двое друзей – Валя и Саша – вышли из речного трамвайчика у Парка Культуры, побежали по зеленым взгоркам, вдоль узких дорожек и аттракционов. Они решили подняться на «колесе» и полюбоваться Москвой. Не было тогда еще ни Останкинской башни на Аргуновской улице, ни «Триумф-Паласа», а в островерхие сталинские высотки (так похожие на одинокие елки) – не попадешь.

В очереди на «колесо» стояли приезжие, провинциалы, они давно осаждали аттракционы.

Май благоухал тем единственным ароматом, той одуряющей свежестью, которая бывает только в это время года. Валя и Саша Ромадин остановились у кассы гигантского колеса, которое важно и торжественно, дрожа и поскрипывая, двигалось по кругу.

Кабинки замерли, Валя-Валентина сделала шаг и устроилась в уголке. Саша (вольно или невольно) приобнял ее. Оба замолчали, устремив глаза на окрестности. Колесо поднимало их – вверх, вверх!

Но на самой высокой точке что-то вдруг дернулось, заскрежетало, замерло – и кабинка зависла, покачиваясь в растерянности и недоумении. Кто-то ворчал, покрикивал, даже бросал окурки в сторону оскандалившегося механика.

Валя взглянула с опасной высоты вниз и увидела там – неужели она? – девицу, на которую не раз натыкалась в их дворе, да еще и вместе с Сашей. Уж не она ли нажала на кнопку, и движение остановилось? Из ревности, из вредности?

Саша ничего не заметил. Напротив, воспользовавшись остановкой, он крепко заключил в свою ладонь Валину руку и еще ближе придвинулся к ней. Он не спускал косящего взгляда с девичьего лица, а она – то ли от застенчивости, то ли из девичьего упрямства, за которым скрывалось кокетство, – резко отодвинулась.

Он показал вдаль: видишь там желтоватое пятиэтажное здание? Это генштаб. И пустился в рассуждения – о генштабе, где выковывается научная стратегия армии, об экономике, которая все еще хромает, а между тем всюду звучат коммунистические лозунги. Зато есть уже прообраз человеческого братства – военная академия, где учится он вместе со студентами из стран народной демократии.

Совсем рядом пролетела стайка птиц, и Саша вскрикнул: – Это стрижи, мои любимые! Ты любишь стрижей? Тина-Валентина, моя Валенсия? Отвечай!

– Я отвечаю: какая красота вон там, в Нескучном саду! Бездонное чистое небо, яркий зеленый мир, шумит свежая листва. А из птиц я люблю ласточек и соловьев.

В воздухе звенело – скворцы готовили гнезда, жужжали пчелы, летали бабочки, метались ласточки, свистели – на-

стоящая птичья симфония! Валя, понизив голос, рассказала, как недавно была в деревне, там возле каждого дома цвела сирень и птиц видимо-невидимо.

— И, знаешь, во второй половине дня все птицы куда-то переместились — слышалось «т्यों-т्यों»: запел-защелкал соловей, а они словно освобождали для него эстраду... И теперь он будет целую ночь, каждую ночь петь, пока мама-соловушка сидит на яйцах, пока не проклюнется последний птенчик.

Саша, глядя на ее порозовевшую щеку, уважительно заметил:

— Какие, однако, познания!

И, чтобы не отстать от спутницы, пустился, как ни странно, в рассуждения об истории, о декабристах.

— Был тогда Южный союз и во главе Пестель, почти диктатор. Но была и северная группа, они носили имя Союз Благоденствия, имели более умеренную программу, хотели покончить с крепостным правом. Как ты думаешь, какая группа победила, стала главной? Ну, конечно, Пестель! Союз Благоденствия оттеснили, а там, между прочим, был замечательный человек Якушкин... Вот так вся история наша идет: крайние, экстремисты берут верх. А это очень худо, ты согласна со мной?

Она кивнула, а он опять задал вопрос:

— Что это вон там? Белое и красное.

— Да это же Новодевичий монастырь! Историю любишь, а

про него не знаешь?

– Не надо меня стыдить, упрекать, все я знаю! – и сделал вид, что обиделся.

Она шутя «боднула» его головой и засмеялась:

– Какую ерунду мы говорим, а ведь все еще висим между небом и землей. Когда они починят это чертово колесо?

– Между небом и землей... – серьезно повторил он. – И не есть ли вся наша жизнь между одним и другим? К примеру... Уничтожили капитализм, самодержавие, размечтались о мировой революции на всем земном шаре – и что же?..

Лицо ее приблизилось к его лицу, взгляды карих и серо-голубых глаз слились, губы сблизились – и невозможно было не поцеловаться.

Но в этот момент громадное и неуклюжее сооружение дернулось, задрожало, дрогнуло – и толчками, толчками медленно стало двигаться по кругу вниз, вниз...

Пролог второй

1989 год. Фиолетовые облака надвинулись на город, окутали его сплошной пеленой, и полился быстрый частый дождь. С грохотом поскакал он по улицам, словно кавалерийский полк. А спустя короткое время уже мчались потоки воды, заливая грязные автобусные остановки, подземные переходы. Водяные струи лились по стеклам, по огромным щитам, делая еще более яркой рекламу, которая облепила в последние годы столицу, как осы – ягодный торт.

К одному из окон дома на Басманной подошла все еще моложавая женщина и ахнула: вот это дождь! Ее любимый тополь качался, ветки вздрагивали, рвались, колыхались, – настоящая буйная пляска зеленых лакированных листьев!

Лицо ее дышало энергией, а из-под темных бровей смотрели задумчиво и сосредоточенно светлые глаза.

Раздался телефонный звонок, она проворно выбежала в коридор. В трубке негодовал голос дочери, взволнованный и возмущенный:

– Мам, представляешь, что случилось? Наш семидесятилетний босс оттого, что его любовница-секретарша уволилась, тоже решил уйти. Но! – вместо себя оставил своего человечка, такого хамовато-дубоватого, по фамилии Барабуля... Изъясняется он тремя фразами: «Мне это по барабану», «Войны не будет» и «Нет проблем? Они появятся».

Пришел и сразу дал своему приятелю на перевод договор с японцами. Я начала редактировать – ну куда! – надо переводить заново. Говорю этому Барабуле: «Если правка составляет девяносто процентов, то перевод принимать нельзя». А он – представляешь? – «С вами будут проблемы, а они мне не нужны, так что...» – Я онемела. – «У меня за дверью стоят десять переводчиков...» – Понимаешь? Я уйду из этой конторы, от этого вампира. Все!

Валентина Петровна осторожно спросила:

– Что же ты будешь делать, как жить?

Та скороговоркой выпалила:

– Ты же знаешь, что со своим английским не пропаду! Мы что, совсем должны забыть о человеческом достоинстве?

– Нет, что ты, что ты! Правильно сделала, – без уверенности отвечала мать; она знала кое-что о частных фирмах, знала и характер дочери. И догадывалась, что сейчас та топчется, как всегда, и не стала ее задерживать – они простились.

Дождь утихал. Любимый тополь успокаивался. Сколько лет она смотрела на эти могучие ветви, то замиравшие, то пускавшиеся в буйный пляс... На ворон, облюбовавших дерево для строительства гнезд, на величавую, пышную крону... Саша тоже любил наблюдать за пышно-зеленым великаном... По стеклу стекали капли воды, оттого вид за окном казался призрачным.

Снова раздался телефонный звонок.

– Аллё-о-о!

Низкий мужской голос – она узнала бы его из сотни. Людей она забывала, а голоса – нет.

– Неужели я слышу тебя, о Рожденная под знаком Венеры!

– Добрый день, здравствуй, Кирик! – Он всегда вот так: то исчезает на годы, на месяцы, то – является, как этот дождь, и затопляет все вокруг. Она хотела спросить, откуда и куда он на этот раз.

Но звучный баритон уже опередил ее:

– Позволит ли мне навестить ее... госпожа Левашова? Или она все же изменила фамилию?

– Нет, фамилию я не меняла, – зачем?.. Заходи – раз ты появился в Москве...

– Ты все так же снисходительна к нарушителю морали? И позволяешь зайти?.. Между прочим, я уже был у твоих дверей, но... они не захотели меня впустить.

– Ты бы еще дольше не показывался! У нас теперь у всех или железные двери, или код.

– Кот? И, конечно, черный? – пошутил он.

Она назвала код и поспешила к зеркалу. Покрасила губы, подправила брови, когда-то густые, «союзные», надела сине-серое платье из тяжелого трикотажа. А он уже звонил в дверь. Тина-Валентина открыла, и ей предстали мокрый плащ-болонья, копна седоватых волос, большие близорукие глаза и насмешливая улыбка. Все тот же Кирик, такой же, как тогда, когда они виделись в последний раз.

Он вошел – и сразу мощный баритон затопил квартиру: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю...»

Голос не только не стал слабее, он стал глубже и лишь чуть-чуть уступал Пласидо Доминго. Второй куплет гость пел, уже аккомпанируя себе на пианино. Играет Шопена, Генделя, Баха, а как поет арии Верди, Чайковского! И все это легко, беспечно, с первой ноты покоряя слушателей. Но – может небрежно бросить арию на середине фразы. Вот и сейчас – уже встал:

– Все та же итальянщина, старье... – повернулся, артистично опустил на одно колено: – Позвольте заметить, сударыня: вы все так же хороши! Имею ли я право вновь изъясниться в любви? О, эти суровые брови, эта серьезность – и нежная, детская улыбка!

– Перестань, Кирик, не надо. – За всю жизнь она так и не поняла, когда ему можно верить, когда нельзя. – Садись лучше за стол. Ешь плов, пей чай.

Легкой, птичьей походкой Кирилл быстро прошел в коридор, достал из кармана выдавшего вида плаща бутылку вина. Тина посмотрела на обтрепанные брюки, старенькую ковбойку – неужели все так же беден? Заметила, что слегка пьян. Сердце невольно сжалось.

– Хочешь, я дам тебе плащ? Совсем новый, отец не успел его даже надеть...

– Ни за что! И ни-ког-да! Один умный человек сказал, что

комфорт и деньги – это вороватые пришельцы, которые входят в наши души как гости, а потом становятся хозяевами, тиранами. Давай лучше выпьем! За встречу!

Пили чай, вино, и после каждой рюмки гость садился за пианино, пел, постепенно пьянея, и еще легче, невесомее двигался по комнате. Читал чьи-то стихи...

Сунул руку в потертый пиджак и вынул какой-то листочек.

– Хочешь, почитаю? Одного хорошего человека, – в 1941 году он ушел на фронт:

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали...

Не закончил и остановился вдруг возле стены с фотографиями. Вперил взгляд и долго рассматривал.

– Хм! – усмехнулся. – Представители славной эпохи? Свет социализма? Что-то мне мало выпадало того света. Все больше тени, тени... Но своей фотографии я не обнаружил. – Обернувшись, печально взглянул на хозяйку: – Да-с, моего фото нет... Значит, ты все-таки меня не любила?

– Как сказать, – неуверенно заметила она.

– Я понял, что Любовь – это не просто чувство, а мы в основном это так воспринимаем. Любовь – это ИноБытие, и это СоБытие с тем, кого любишь! Тогда нет никаких – «а

почему он это сказал, а почему он туда пошел» и т. п. Всё то, что люди принимают за любовь, это эмоциональный коктейль, эмоциональная пища, которая им нужна... М-м-да... Между прочим, я уезжаю в Индию.

– Верить – не верить? Надолго?

– Хорошо, если навсегда.

– Что ты говоришь, почему? – она прикоснулась к шапке густых волос.

Он резко вскинул голову:

– Ты считаешь, что я уже более ни на что не гожусь, только гладить? – опустив глаза, тихо заметил: – По-хорошему мне тут не живется, а по-плохому не хочется, надоело. Хорошо, если бы меня взяли к себе индийские боги. Русский бог не берет грешника.

– Что ты говоришь! – она опять провела рукой по седеющей голове.

– Нет, нет, не надо! Гуд бай! – он артистично взмахнул рукой и сразу распахнул дверь. На лестнице раздался могучий бас-баритон: «Пою тебе, бог Гименей, Ты, что соединяешь невесту с женихом!...»

Валентина Петровна подошла к окну и долго смотрела на удалявшуюся неверным шагом фигуру...

Редкие капли дождя стекали по стеклу, словно слезы...

Стемнело. За окном колыхался тополь. Оттого, что в комнате горела лампа, стекло напоминало черное зеркало: в нем отражалась противоположная стена. Этажерка, порт-

рет Сальери, маленький перламутровый веерок, фотографии... Тут ее мать Вероника Георгиевна, отец, а рядом с ним незнакомец и подпись – Н. Строев. Галка с Миланом, навсегда покинувшие родину... Смешной, нелепый Райнер... И Сашка, Саня, Александр... Кого-то уже унесли ветры Времени...

Кирика задело, что не нашел своей фотографии?.. Роман их длился не десять, а более лет, то затихая, то обжигая. То он исчезал где-то, то она выходила замуж, – и всегда ее обуревали сомнения. Ум его, эрудиция, йога восхищали, но – эти женщины, покоренные неотразимым властным пением, женщины одна за другой отрезвляли ее...

Увидел фотографию Саши? Еще бы! Первая любовь, военная академия, вальс-бостон Цфасмана, южная ночь, обнявшая их навсегда...

Долго не отводила она глаз от зеркального окна. Выплывали мгновенья жизни, погружали в размышления... Фотографии, отраженные в черном зеркале, воскрешали прошлое, напоминали о мгновеньях, часах, годах...

Дождь давно кончился, солнце скрылось за длинными тяжелыми облаками, но еще взблескивало в просветах. Тополь, роскошный тополь на этом фоне казался похожим на театральный занавес, за которым разворачивались одна за другой сцены из жизни...

Глава первая, послевоенная

Наивные гордячки пятидесятых

Окрестности просторны, далеко видны. Лениво падают листья... Черная стая птиц, вдруг взвившаяся и так же вдруг опускающаяся в низину... Ласточка, стремительно несущаяся к дому... Высокий полет большой птицы – такой медленный и завораживающий... Все это – так кажется Валентине – сопровождается тихой музыкой.

Как многие девушки послевоенных лет, она была весьма романтична и неприступна. Те, кто мог стать их женихами, мужьями, лежали на полях Отечественной войны или в госпиталях. А в девицах осталась большая доля наивности, несмотря на пережитые военные испытания. Молодые люди боялись притронуться друг к другу, поцеловаться... Ах, эти гордячки! Они не показывали свои чувства, и – избави боже лишиться девственности до ЗАГСа!..

Солнце, щедрое солнце по-летнему лило свои лучи, бросая охапки оранжевых светов на зеленый луг, серебристые крыши домов, на сине-желтую глинистую воду.

А на высоком берегу охристым массивом красовался бревенчатый, обвитый хмелем осанистый дом. Главная хозяйка его – Вероника Георгиевна Левашова. Еще в давние тридцать-

тые годы, когда никто не имел тяги к недвижимости, купила она этот бывший помещичий дом. В отдельной комнате с тех пор так и осталась жить сестра помещицы. В заморские страны она не двинулась, стала обучать сельских девушек шитью, грамоте, аптекарскому делу.

Почти за бесценок приобретен был этот дом. Собственно, муж Вероники Георгиевны – Петр Васильевич, бывший конник, чекист, мог бы вообще реквизировать его. Но супруга настояла на том, чтобы, во-первых, заплатить, а во-вторых, дать приют сестре помещицы. С «мадам» та разговаривала по-французски, а Петр Васильевич в такие минуты прикидывался глуховатым. Брак его с Вероникой Георгиевной – истинный мезальянс: он мастер на заводе, секретарь партбюро, в некотором роде «язычник», сотворивший идолов из Маркса и Ленина, она – подлинная француженка по материнской линии, училась в институте благородных девиц, к тому же в пятьдесят лет еще красавица. Только мало ли какие браки вспыхивали в те озорные годы?

Деревня была старинная, можно сказать, царская, – тут еще при Алексее Михайловиче селились его люди. Улица – широче-е-нная. По весне она превращалась в мутный поток, мчащийся вниз, к Москве-реке, зато летом всегда сухо, песчано, светло.

На обрыве стояла церковь, окруженная липами, посаженными по вымеренному кругу. В тридцатые годы ампиный храмик, миловидный и ласковый, выглядывал из-за пышных

лип, будто свежий белый каравай. Теперь же напоминал он старый обгрызенный сухарь. Однако липы, подстриженные по версальской моде, еще сохранили циркульную форму, хотя и буйно разрослись.

Местные старухи рассказывали:

– Красота тут была! Взойдешь в церковку – золото-серебро так и горит... А батюшка доброты нездешней. Только собрали как-то нас, дураков беспросветных, и говорят: «Бога нет, в городе так установили. Значится, надо скинуть колокола». Что делать? Бабы в слезы, думают, в городе, дескать, умнее нас, кумекают. Иконы растащили, кто, конечно, втайне потом молился, ну, а парни взрослые доделали то грешное дело, колокола – за шею да наземь...

Может, и правда нельзя тут было стоять церкви? Ведь еще в двадцатые годы ретивые умники привезли сюда что-то длинное, закрытое, долго таскали кирпичи, мазали, а потом раз – и поутру предстала каменная фигура: человек приземистый, почти квадратный, пальто распахнуто, в руке кепка. Сказали – это Ленин, тот самый, что теперь вместо Бога станет. Смирились, хотя рождала та фигура в душе беспокойство.

После войны рядом с Лениным соорудили кособокий сарай под названием «Клуб». Вероника Георгиевна послала своего Петра Васильевича по инстанциям; мол, скульптура Ленина – исторический памятник двадцатых годов, потому нельзя с ним рядом такое чудище возводить, позорит оно

имя вождя. Петр Васильевич стучался в разные учреждения, писал, но в ответ пришло лишь постановление: покрасить Ленина краской серебрянкой, а клуб – голубой.

Вероника Георгиевна неспешно приблизилась к краю веранды, позвала сына и дочь:

– Филипп! Тина-а!

Высокая стройная девушка, платье в горошек, подбежала к веранде. Остановилась возле умывальника, с неудовольствием всмотрелась в зеркало: строгое лицо, волосы на прямой пробор, косы, ни один волосок не выбился, черные дуги бровей, а ресницы? – торчат, как стрелки, вниз, светлее бровей. И глаза – не поймешь какого цвета, то ли серые, то ли сиреневые... Дома она – покорная Золушка, зато в школе ее называют «воображалой», «гордячкой».

Филипп – прямая противоположность: с лица не сходит рассеянная улыбка, одет небрежно, торчат вихры, очки перекосились, бывает резок, даже груб.

– Филя, займись лошадкой!

Сын и ухом не повел. А Вероника Георгиевна увидела стоявшего без дела мужа:

– Петр Васильевич, почему у нас до сих пор нет дров? Скоро обед, могут приехать гости, а вы прохлаждаетесь. Когда я служила начальником производственного отдела, я никого не заставляла ждать.

Муж улыбнулся в усы:

– Сей миг все будет сделано.

Жена его работала всего года полтора за всю жизнь (она говорила – «служила»), однако то и дело напоминала об этом... «В тебе, Веруша, погиб большой генерал», – добродушно шутил муж, и лицо его покрывалось мелкими морщинками, а глаза, темно-серые омутки, шустро взблескивали из-под бровей.

– Пора выгуливать Роланда, – добавила Вероника Георгиевна, чуть смягчаясь.

Лошадь по имени Роланд – тоже ее причуда. Как-то, полгода назад, старый товарищ мужа рассказал, что в цирке во время родов пала кобыла, из живота ее вынули жеребенка, и он должен пойти на мясо. «Пойти на мясо? – возмутилась мадам. – Ни за что! Несите его к нам!» Новорожденный напоминал смятый кусок коричневого бархата.

Петр Васильевич не хотел его брать, потому что в Гражданскую войну у него был чудный конь в яблоках по имени Серко. Когда конь состарился, пришлось отдать на конный завод в Бутово – там сохранилась конюшня. Бывалый конник чуть не со слезами уводил своего Серко на конюшню. А через год, наведавшись туда, нашел разоренной усадьбу; конюшню упразднили, про Серко, любимого коня, говорили, что он долго бродил по окрестностям, а потом исчез. С тех пор Петр Васильевич зарекся заводить лошадей. Однако в доме верховодила мадам, любимая жена... До него донесся ее голос:

– Филя, не знаешь, приедет сегодня Саша? И один или с

очередной пассивей?

Сын что-то буркнул, но так тихо, что поняла только мать и тут же накинулась на него:

– Молодец Саша! Не то что ты. У него всегда полно друзей, подруг. А ты? Как бука. Ни одной знакомой девушки!

Возмущенный шепот, похожий на шипение, донесся оттуда, где стоял Филипп:

– Мам, что ты говоришь? У меня же сессия!

– Ах, милый! Когда я училась в гимназии, даже во время экзаменов мы ухитрились передавать записочки гимназистам.

Филя взлохматил светлые волосы, поправил очки и, не без раздражения взглянув на мать, прошептал:

– При чем тут твои записочки? Может, ты любила флиртовать, а меня это ни капли не занимает.

Хотя Филипп учился в театральном институте, он ни на йоту не был наделен артистизмом (учился он, правда, на театроведческом факультете).

– Мальчишка! – бросила мать и, прямая, с откинутой головой, направилась в кухню.

Там ее ждала дочь, готовая следовать материнским кулинарным советам, да и не только кулинарным. Когда-то, лет десять назад, у Вероники Георгиевны случился инфаркт, вернее, микроинфаркт, и с тех пор муж и дочь жили в постоянном страхе за ее здоровье. В доме всегда пахло ландышевыми каплями и камфарой, ей не смели возражать, боясь но-

вого приступа. По той же причине Валя-Тина-Валентина после десятого класса не пыталась поступать в институт, обучилась машинописи, и отец устроил ее секретарем в заводоуправление.

Вероника Георгиевна достала рис, курицу.

– Как говорят французы, вкусная еда – самое легкое счастье. Ты согласна?

– Да, мамочка, – кивнула Тина.

Ее мать царила в семье, как царят и властвуют больные, как бы приговоренные к скорой кончине. А своими манерами, поведением, нарядами она напоминала заморскую птицу, залетевшую неведомо откуда и жившую по известным лишь ей законам. Впрочем, она и была таковой. Как истинная француженка, она понимала толк в жизни, в еде и недурно кормила домочадцев. Уже были отменены послевоенные карточки, в магазинах можно было купить почти все. Елисеевский сверкал зеркалами, лоснящейся икрой, желтым маслом, вкусно пахло колбасой с фисташками. Возле своего дома на Басманной мадам могла купить и белую осетрину, и янтарного лосося.

– Итак, что мы нынче сотворим?

– Сварим курицу? – предложила Валя.

– Свари-и-ть... – Вероника Георгиевна изобразила кислую мину. – Нет! Мы сделаем французский суп! Как? Две картофелины варим, две жарим с перцем и-и-и протираем сквозь дуршлаг. На второе? Из этой же курицы готовим

нечто божественное! Обжарим мясо с луком и сделаем соус. Порядочные люди должны видеть парадный стол, теперь не война, чтобы питаться по-пороссячи.

Мадам умела мгновенно переходить от неумолимо властных тонов к вкрадчивым. И покорная дочь уже чистила лук, терла картофель, а мать сидела на старом венском стуле, курила и рассуждала о сыне Филиппе, который равнодушен к девушкам, о дочери, которая не умеет кокетничать, – как жаль, что оба они ничего не унаследовали от матери!

– Если хочешь знать, самое главное – это флю-и-ды, невидимые токи, лучики, стрелы Амура... Еще дам тебе хороший совет: девушка должна иметь поклонника, который старше ее. Почему? Ну потому... потому что такой человек даст ей возможность почувствовать себя женщиной!.. При этом, конечно, ни в коем случае не терять невинность, но – почувствовать в себе женскую силу.

– Мама, к чему мне старики?

– Ах ты глупышка! Они сделают тебя умнее.

Выглянув в окно, Вероника Георгиевна вновь перешла от таинственного шепота к густому угрожающему меццо:

– Петр Васильевич, что вы там застряли?

Однако готовый вырваться гнев пришлось погасить, дрова уже лежали где надо, а муж выводил из сарая коня – вот они идут по площадке, по ровному кругу. Молодая тонконогая лошадь шоколадной масти выделяет балетное стакато. Все быстрее, быстрее, шерсть блестит, кожа трепещет.

Вероника Георгиевна не выдержала, сбежала вниз, остановила коня и, прижавшись к морде, похлопала по мокрой бархатистой коже.

В этот момент на сельской улице показался желанный гость – Саша, их сосед по московской квартире. Валя (впрочем, дома все ее называли «Тина») подбежала к окну: один – не один? Прищурила глаза и рассмотрела рядом с Сашей модно одетую девушку. Впрочем, Саша тут же, оставив ее, направился к Роланду.

Коричневый лоснящийся конь и смуглый Саша – в них было что-то общее: юная дерзость, нетерпеливый взгляд. Конь пугливо озирается, а Саша? Что это он? Взял и намотал конский хвост на руку. Роланд взбрыкнул и ударил задним копытом.

– Сашка, что ты делаешь! – закричал Филипп. – Испортишь лошадь!

Мадам могла бы устроить за такое «тра-ра-ра-рам», если бы не симпатия к сыну соседки.

– Прекращаем эксперименты и отправляемся в дом! – приказала она.

Через короткое время компания сидела за круглым обеденным столом на веранде. Валя незаметно взглянула на Сашу и его спутницу. Он был в прекрасном настроении, но, похоже, не из-за этой Юли. Оказывается, его приняли в военную академию, и по этому поводу он притащил две бутылки «Советского шампанского». Бокалы тут же вспенились све-

тящимися пузырьками. Девушка сидела со скупающим лицом. В таком случае зачем он ее привез?

Петр Васильевич с чувством произнес:

– За тебя, Саша. Поздравляю!

– Я никогда не одобряла военную карьеру, и у меня есть на то основания. Но если уж идти по этому пути, то только ради больших денег, и – раз уж ты поступил – я пью за генерала Ромадина. – И она помахала веером.

– Вероника Георгиевна, что вы говорите, какие деньги? Разве это главное? – лицо Саши полыхнуло, он встал – широкоплечий, загорелый, кареглазый, ямочка на подбородке – признак волевого характера: и впрямь будущий генерал! Серьезно заметил: – Академия – это путь к военной науке, а вы...

Тина порозовела, – в последнее время с ней это происходило часто. И все же преодолела себя, тихо проговорив:

– Я рада за тебя, Саша. Филя – наша будущая театральная знаменитость, ты – генерал, а я только печатать умею...

– А кто у нас вяжет, варит, шьет? – вступился за нее отец. – Ты наша труженица!

– Братцы! Народы! А ведь в академии наверняка нужны машинистки. Валюшка, я тебя устрою – вот увидишь! – Саша поднял бокал с шампанским и запел:

Все выше, и выше, и выше

Стремим мы полет наших птиц,

И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ!

– Братцы, люди-человеки, что я вам скажу-у! – голос его зазвучал по-другому: – Позавчера у нас была встреча... знаете с кем? С Байдуковым, великим летчиком. Мы спросили его, видел ли он Сталина? Мы-то его только на демонстрации, издали, да на портретах. И знаете, что ответил Байдуков? Он сказал: «Мы встречались много раз. Сталин здорово разбирается в моторах, фюзеляжах и прочем и задает вопрос всегда по самой слабой части самолета. У него потрясающая интуиция... Вообще, Сталин – голова!» Так и сказал. Давайте выпьем за него!

– За Байдукова или за Сталина? – подмигнула хозяйка.

Саша залпом выпил бокал и, распираемый радостью, выскочив из-за стола, уцепился за притолоку и подтянулся несколько раз.

– Сашка, ты как Тарзан. Тогда уж лучше по деревьям лазай, – урезонил его Филя и добавил: – Мы с ним «Тарзана» смотрели.

– Вся Москва по нему с ума сходит! – подхватил Саша. – Мужчины зарабатывают комплекс неполноценности, а женщины ищут кого-нибудь похожего на Тарзана. Целый фольклор появился.

– Почитаете? – полюбопытствовала Вероника Георгиевна.

– А критиковать не будете? Тогда – пожалуйста:

Да, жили мы, мужчины, но вскоре на экран
На горе и кручину был выпущен «Тарзан».
И гибнут все пижоны, они идут на дно,
Все жены и девицы твердят теперь одно:
«Ах, в Африку хочу я, мне жизнь постыла тут,
Здесь девушек не ценят, здесь жен не берегут!
Другое дело в джунглях, среди диких обезьян,
Жизнь, полную довольства, доставит мне Тарзан...
Не нужен нам панбархат, капрон и креп-сатен,
Пусть буду я одета, как маленькая Джен.
За хижину Тарзана, за диких негров джаз
Я б отдала квартиру, где телефон и газ...»

– У этих стихов есть конец или нет? – скривилась Юля.

Саша хмыкнул, щека его дернулась. Филя предложил:

– А не пойти ли всем на берег? У нас там ивы не хуже,
чем в тропиках, – и первым поднялся.

Компания двинулась к обрывистому берегу. Юля шла рядом с Филей. Вероника Георгиевна опиралась на руку Саши, а Тина нарочно замедлила шаг. Она была явно не в своей тарелке, она бы вообще с удовольствием исчезла... Тут, к счастью, издалека до нее донесся голос почтальонши:

– Валентина, тебе письмо!

Она поспешила навстречу. Почтальонша вручила увесистый конверт. Не успела его открыть, как из-за плеча возник Саша и выхватил письмо. Тина бросила на него мрач-

ный взгляд светлых глаз, брови, похожие на крылья ласточки, взлетели вверх.

– Так, да, Ромадин? Приличные люди не читают чужих писем.

– А я и не собираюсь читать, только взгляну, откуда... А-а, Калинин? – Он вернул ей письмо и помчался к обрыву.

Через минуту над обрывом взметнулось его упругое, сжавшееся в комок тело, вцепившееся в толстую веревку, с узлом на конце и – вперед-назад, вперед-назад!.. Солнце то слепило глаза, то уходило в тень... Над широкой луговиной сгустилось черное облако птиц, вот оно взметнулось выше и опять рассыпалось...

Саша заворуженно смотрел, как «птичье облако» перетекало из одной формы в другую, уподобляясь то шару, то шлейфу. Чьей воле подчинено их движение? Вожак управляет стаей – или у них иные, неведомые законы? Может быть, и человеческие сообщества развиваются по схожим законам? Какие силы управляют нами? В школе говорили: классы. Нет, должно быть что-то еще... Птицы движутся в пространстве, а люди – во времени. А время? Существует само по себе, неподвижно, – или его двигают человеческие действия? Саша обводил взглядом горизонт, а в глазах блистали слезы: его захватывало величие мира, жизни, будущего, и будущее виделось долгим и светлым, как освещенное облако.

За ним пристально наблюдала, любуясь, Вероника Георгиевна.

А по дороге печально удалялась ее дочь, тоненькая девушка с толстой косой, держа в руке какой-то конверт. Кофточка с оборкой, юбка-клеш – все в ней славно, однако что-то в походке, облике дочери настораживало Веронику Георгиевну. Уж не влюбилась ли? И не в Сашу ли? Соседи, с детства вместе играли, потом он уехал в Харьков, вернулся, теперь поступил в военную академию, – его не узнать: возмужавший, смуглый, «победительный».

Вероника Георгиевна сидела над обрывом, на покосившейся скамье под пронизанными солнцем деревьями, и неотрывно глядела на Сашу. На фиолетовом маркизетовом платье с желтыми цветами, на белой шляпе с низкой тульей, на веере и руках ее играли солнечные пятна – как на картинах Ренуара.

Вверх – вниз, вверх – вниз... И на другую сторону обрыва. Мощная ветка, держась за которую летал Саша, вызвала в памяти образ: не так же ли и она, и Россия – вверх, вниз и все через обрывы?..

Разноцветная радуга слепила глаза, и в свете ее возникли другие, юные полеты на качелях, украшенных лентами и цветами...

...1913 год. Такой же яркий летний день. Такой же нестерпимой синевы купол неба – словно китайская фарфоровая ваза, стоявшая когда-то на полу в их доме...

Девочка Вероника в белом платье и мальчик в серой

курточке, с седой прядью в волосах, взлетали в небо. «Как тебя зовут?» – спрашивал он, и она кричала: «Ве-ро-ни-ка-а!» Его звали Никита (так он себя назвал).

Потом появился жандарм, и над рекой, гораздо более широкой, чем эта, разнеслось: «Р-р-разойдись! Пароход идет!». 300-летие Романовых. Последний счастливый русский год, передышка между русско-японской и будущей мировой войной.

Пароход пришвартовался к пристани в Калуге, и августейшее семейство ступило на берег. Толпа ликовала. Вероника не спускала глаз с императора, великих княжон и наследника. Они приблизились к детям, стоявшим впереди. Государь коснулся ее головы, плеча Никиты... Возгласы, ликование, крики восторга.

Подошла высокая дама в белом платье и шляпе, с корзиной в руках и, ласково улыбаясь, что-то протянула каждому: – Пожалуйста, возьмите... в память об этом дне... Это мыло, душистое розовое мыло, а на обертке – видите? – портрет царевича Алексея, вашего сверстника.

Между тем синеглазый подросток не спускал глаз с Вероники.

– Завтра моление... Вы поедете в Оптину пустынь? Мы с батюшкой собираемся.

– Матушка тоже обещала меня взять, – радостно выпалила она.

А вечером того дня кривыми буквами она написала пись-

мо в Париж, тете. «У царевича чарующая улыбка, он прыгал на одной ножке, но императрица его остановила... Мысленно я перекрестила будущего нашего государя, – он еще маленький, но ведь все впереди: пусть Бог пошлет ему безмятежное царствование! Как радовалась толпа! Какой незабываемый день!..»

«Но – где оно, „безмятежное царствование“? – думала Вероника Георгиевна, щурясь на солнце. – На демонстрациях народ сегодня ликует, видя Сталина, однако – нет безмятежности».

Воскресным днем они отправились тогда в Оптину пустынь. Какие благодатные места, какая тишина, в скитах умиротворение, в храмах – молитвенный воздух... Стояли в церкви рядом: мальчик с голубыми глазами, с седой прядью в волосах, и она в синем платье с белым воротником. Вместе с Никитой молились Богу...

В скрепленные солнечными лучами перед Вероникой Георгиевной проплывали картины далекого прошлого.

Когда-то ее мать чтит Кальвина, в Париже слыла яркой гугеноткой, однако полюбила русского генерала, приняла православие и отвергла Кальвина. Переменчива жизнь, как эти растущие деревья, травы, как вся природа...

Летом они жили в Тверской губернии, там было имение отца, совсем близко от Слепнева – усадьбы Гумилёвых. Ах, какие там были усадьбы!

Вот дом, старинный и некрашенный,
В нем словно плавает туман.
В нем залы гулкие украшены
Изображением пейзаж...

Но ударила революция – и... Подожгли дом генерала Левашова, а они с матерью еле выбрались из пожара. Маленькая Ника запомнила ту ночь. Став взрослой, она связала тот пожар с благородными делами отца – ведь он построил аптеку, школу для крестьянских ребятишек – и навсегда обрела отвращение к толпе и политике, а в глубине души осталась монархисткой.

...Женщина в белой шляпе сидела возле реки Москвы, а сквозь нее как бы текла река Времени. Того времени, когда над землей «реял какой-то таинственный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет». И тот синеглазый мальчик с седой прядью в волосах...

Солнце близилось к закату. Лиловые, оранжевые облака громоздились на горизонте... Отчего далекое так живо, а вчерашний день скоро меркнет? Память своевольна: затуманивает одно и просветляет другое. Сегодня белым кажется то, что некогда казалось черным, – и наоборот.

Та далекая любовь (единственная!), сколько принесла она страданий! Теперь же встает лишь розовый свет... Снова встретить его – мальчика, юношу, старика? Не дай Бог! Отчаянный, своевольный, мятущийся правдолюбец, Никита и в ЧК говорил только то, что думал, и она тогда еще поняла:

с ним не обрести покоя.

— О нет, только не это! — вслух проговорила мадам, вставая со скамьи и помахивая веером. — Не хочу, не хочу, не хочу!

Чужая воля – и своя

1

Какая нелепая история с тем парнем из Калинина! Знакомство в поликлинике, – Валя ходила на перевязку (на ноге вскочил фурункул), и он дважды занимал за ней очередь. Конечно, необычный, видный из себя, но, кажется, завела она знакомство только затем, чтобы «излечиться от Саши». Во всем облике случайного знакомого сквозило что-то благородное, однако ногти срезаны до кожи. Он слегка заикался, но болтал без умолку. Дважды они уже гуляли по Москве.

– Москву я терпеть не могу... – говорил Виктор Райнер. – Раньше жил в Средней Азии, город Каркалы, или Черная дыра. Потом – на севере. Так что прошел огонь, воду и... только медных труб не было, но будут, будут!

До всего ему было дело. Он и в поликлинике следил за очередью. А пересекая двор, остановился и замер, увидав мужика с канистрой, который, видимо, собирался переливать бензин в ведро. И закричал так, что спутница его отпрянула:

– Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь?

Тот уже ливанул из канистры – и вспыхнуло пламя, которое вмиг охватило куртку, руки рабочего. Виктор схватил

кусок брезента, стал бить им и загасил пламя на незадачливом мужике. Потушил огонь и опять заорал:

– Ты о чем думал, когда лил бензин в мазут?!

Мужик молча ухмылялся, похоже, ничуть не раздосадованный случившимся.

– А думать-то... этто... надо, голова садовая! Мог бы и сгореть!

Еще потоптавшись на горящей траве, Виктор вернулся к Вале и прочел целую лекцию о человеческой глупости, русском «авось» и технике безопасности. Он словно задался целью тогда, при первой же их прогулке, открыть ей глаза на темные стороны жизни.

– Вы ходите с открытыми глазами, – пророчествовал, – но ничего не видите. До вас... этто... доносятся слова и звуки, но вы их не слышите...

– Я, может, не хочу слышать!

Потом они оказались возле гостиницы «Москва», он кивнул на какую-то девицу, шепнув:

– Знаете, кто такая? Нет?.. Проститутка!

– Какие в Москве проститутки? – возмутилась она. – Вы что?

– На спор! Вы сейчас медленно пойдете вдоль гостиницы, а я буду сзади. Вот. Заметим, через две – пять минут к вам подойдет «клиент».

Новый знакомый говорил с таким напором, что она не могла противиться и медленно зашагала вдоль гостиницы. И

что же? Действительно, через несколько минут приблизился какой-то коротышка в очках и зашептал: «Вы не заняты?». У Вали перехватило дыхание, ее затопило отвращение, чуть не стошнило, в глазах вспыхнул испуг, но – рядом уже стоял Виктор и, торжествуя, окрысился на коротышку:

– Вы почему пристаёте к моей жене?! А ну-ка!..

– Зачем? Зачем вы это устроили? К чему? – Валя чуть не плакала. – Я не хочу этого знать! Такое гадкое чувство, будто этот тип...

А он продолжал «лекцию» об идеализме, розовых очках и правде жизни. Когда прощались, попросил телефон, адрес, – она дала лишь адрес дачи (туда-то и пришло первое письмо). Непривычно и странно в нем соединились резкость, требовательность, желание все переделать – с любезностью, галантностью. Поразил напор, прозвучавший в первом же письме.

«Дорогая Валечка! – писал Виктор. – Надеюсь, вы позволите называть вас так?... Все, что я сейчас вижу, чем живу, стало иным с того дня, как я узнал вас. Я стал таким, каким был в самом начале жизни, когда был юн и ни о чем не ведал. С тех пор прошло немало лет, но они были насыщены новым знанием, и не лучшим. Мне хотелось бы обо всем этом рассказать вам, но вижу: рано, вы не поймете меня. Я пишу вам уже второе письмо, в первом рассказал всю свою жизнь, но – не отправил. Знайте: мы с вами до этой встречи жили совершенно по-разному. Я не просто на несколько лет старше вас, я старше на целую жизнь. Препятствие ли это? Конечно! Но

мне кажется, что при одном непременном условии все препятствия могут быть сметены.

Со мной случилось то, в чем я всегда был уверен. Долгое время во мне собиралось, скапливалось внутри нечто хорошее, и теперь оно переполняет меня! Это вы, это вы! Как часто я вспоминаю наши посиделки в больнице, беседы в очереди, потом прогулки, такие значительные и важные...»

С первого раза – и объяснение в любви? Письмо полно намеков, но на что? О чем он говорит, о какой особенной его жизни? Что у него за тайны?

Написано грамотно, красиво. В устной речи он менее изобретателен, к тому же заикается. Отвечать – не отвечать? Она написала о последней прочитанной книге, о погоде и, конечно, не обошлась без рассуждений о разнице взглядов.

2

Унылая каморка, где Тина целыми днями печатает на машинке. Старенький «Ремингтон». С утра до вечера скучные бумаги, цифры, схемы, отчеты. А за окном – слякоть, а за окном – осень... В шесть часов вешай номерок в проходной и медленно направляйся к трамваю. Дорогой в голове вороются мысли, тяжелые, как камни.

Саша обещал ее устроить на работу в академию, прошло два месяца, но ни звука, значит, забыл... Говорят: юность – самая лучшая пора в жизни человека. Ничего подобного!

Грызет тоска, недовольство собой, эта осень, эта машинка, номерок в проходной – разве мало причин для пессимизма? На днях мельком видела Сашу, входящего в подъезд с какой-то девушкой.

Тина не смотрит на встречающих, глядит внутрь себя и – не находит ничего хорошего.

В младших классах ее ругали за то, что не поднимает руку, в старших – что молчит на комсомольских собраниях. Застенчивость и стеснительность не давали жить легко, свободно, своей волей. Стеснялась даже передавать в автобусе деньги за билет. Но человек устроен так, что всегда может найти спасение. Филипп выбрал себе грубоватый способ защиты от капризной матери, а Валя стала просто молчаливой пай-девочкой. Она любит свою мать, восхищается ею, но почему-то еще сильнее чувствует при ней свои комплексы. Хотела бы быть веселой пушкинской Ольгой, но – увы! – в ней сидит мрачновато-романтическая Татьяна.

Уже почти двадцать лет, а еще ни с кем не целовалась. Зато по ночам в фантазиях уносится далеко за дозволенные рамки, замирая, читает Мопассана. Тайно пишет стихи, часто вспоминает детство, когда они с Сашей ходили в детский сад. Однажды Саша сорвал цветок – это были флоксы, – набрал полную горсть лепестков и высыпал ей на голову. То прохладное прикосновение она чувствовала до сих пор. А тот позорный день, когда мамочка надела на нее белое платье, белые трусики, Тина побежала Саше навстречу и шлеп-

нулась прямо в грязь...

Возвращалась она домой в мрачно-хмуром настроении, вспоминала сон.

...Холодная черная вода, раскрошенные водянистые льдины, за ними – торосы, а там и настоящие айсберги. Она барахтается, расталкивает ледяное крошево, впереди – никакого спасения. Тело цепенеет, ужас охватывает все существо – неужели конец? С усилием переворачивается на другой бок – и вдруг открывается синяя, синяя вода, на небе – солнце, льдины растаяли, айсберги исчезли – и она плывет к видимому уже берегу. Плывет легко, выпрыгивая из воды, почти взлетая...

А утром по лестнице на Басманной загрохотало: это Саша летел с пятого этажа. Каждый день слышала она сперва грохот его ботинок, потом хлопанье двери – как выстрел вниз, и – тишина... Она еще обычно лежала-дремала несколько минут, непонятно о чем размышляя, и тоже поднималась. В то утро растаявшие льды и голубая вода прибавили чуточку оптимизма.

Удивительно: именно вечером того дня к ним постучал Саша.

– Тинка-Валентинка! – крикнул с порога. – Наконец-то в РИО освободилось место! Готовься. Завтра в семнадцать ноль-ноль жду тебя в академии возле 612-й комнаты. Заполнишь анкету.

– Какую анкету? Какое РИО?

– Эх ты, валенок! Вот какую! – сунул ей лист. – В редакционно-издательский отдел! – и выскочил на лестницу.

Саша исчез, а Тина еще сидела как оглушенная. Значит, завтра. В пять часов? Одевалась с особенным тщанием – юбка солнце-клеш бордового цвета, белая кофточка с рукавом-фонариком, сверху мамин платок – и отправилась к академии.

Серое здание основательной постройки по утрам вздрагивало и содрогалось – слушатели академии по каменным ступеням устремлялись наверх.

К пяти часам, когда появилась Валя, коридоры уже опустели, и ей не сразу удалось найти 612-ю комнату. Саши не было. Ее хмуро встретил подполковник с рябым лицом. Молча взял анкету, строго заметил:

– Придете завтра, в это же время.

Спускаясь вниз, на лестнице у окна натолкнулась на Сашу.

– Я ждал тебя. Покурим? – пошутил. – Ну что?

– Все отдала. А начальник такой... сердитый. Взял – и все.

– Ничего! Такой порядок. А ты испугалась?

– Нет, но...

– Что на того сердиться, кто нас боится? А он всего боится, я знаю его! – Саша хвастливо процедил это сквозь зажатую в зубах папиросу и засмеялся. Она тоже.

Удивительно: между ними начался весело-влюбленный разговор, какой бывает только у молодых, вернее, юных лю-

дей, еще не сказавших никаких главных слов, но уже плывущих по волнам любви. Он рассказывал, как потешаются над ними, молодыми первокурсниками, «служаки», побывавшие в отдаленных уголках страны.

– Знаешь, как они нас называют? «Огурчиками», «мальцами», «птенчиками», а эти «птенчики» побольше их знают... Похож я на «птенчика»?

Тина смеялась от каждого пустячного слова, и смех ее отдавался в казенных гулких стенах академии. Оба шутили, глядя друг на друга блестящими глазами, и напоминали почки на деревьях, которые уже набухли, вот-вот раскроются, но опасаются: вдруг ударят морозы?..

– А какую мы стенгазету выпускаем! Стихи там печатаем.

– Чьи? Уж не твои ли?

– И мои, конечно! Про одного слушателя: «Мне все в нем нравится, улыбочка и смех, и то, что он всегда лирически настроен, но только у него есть малый „грех“ – вокруг него девицы вьются роем».

– Гениально! Уж не про тебя ли?

– Что ты, как можно? Я же паинька.

– А они?

– Они? У них – нервная система. Очень нервная система. Брови ее взлетели вверх, и она опять засмеялась.

– Смех без причины – признак чего? Ду-ра-чи-ны?

Тина не знала, что смех без причины – еще и признак влюбленности: девушки любят шутки, и Саша это хорошо

усвоил.

Он стоял перед ней, опершись на перила, – в аккуратной зеленой гимнастерке, начищенных до блеска сапогах, широкий ремень на тонкой талии, веселое, чисто выбритое лицо – весь дышал здоровьем и радостью. Невольно приходила на ум песня Изабеллы Юрьевой «Сашка-сорванец, голубоглазый удалец... вообще чудесный славный парень...» Правильно прозвали его в группе «старики» – романтик, настоящий романтик!

– Идем в клуб, – вдруг сразу меняясь, предложил он и взял ее за локоть. Смех замер на ее губах, а прикосновение руки обожгло. – Там есть новинка – ма-а-аленький телевизор... И может, будет кто-то из РИО – я тебя познакомлю.

В клубной комнате было полутемно, по телевизору показывали фильм «В шесть часов вечера после войны». Саша шепнул:

– Вот они, как раз тут, Галка и Ляля из РИО, – и громко: – Девчата, я привел вам будущую машинистку, прошу любить и жаловать – Валя Левашова.

Девушки привстали, но тут с экрана артист Самойлов запел: «Артиллеристы, Сталин дал приказ», – и все подхватили песню.

В комнату вошла какая-то женщина, бесцеремонно включила свет и громогласно спросила:

– Кто будет участвовать в художественной самодеятельности?

Двое молодых мужчин в зелено-серых мундирах с серебристыми погонами встали, поклонились, назвавшись: «Милан Мойжишек, Чехословакия... Йозеф... Венгрия». – «Ага, слушатели иностранного факультета», – догадалась Валя.

Их опять бесцеремонно перебила завклубом:

– Как будете выступать? Читать, танцевать, петь?

Переглянувшись с девушками, молодые люди выразили желание танцевать – венгерку и чешскую польку.

– А вас, Ромадин, куда записать?

Саша прищурился, почесал затылок:

– Если учесть, что мне медведь на ухо наступил... но... что я люблю петь, то... могу в общий хор!

– Ну, хор – это всем обязательно, – бросила женщина и удалилась.

Наступил подходящий момент рассмотреть девушек. У Ляли были вздернутый носик, оттопыренная губка, по вискам вились белокурые локоны. У Гали – широко посаженные карие глаза, аккуратные бровки и копна каштановых волос. Валя вспомнила вчерашний сон, голубые воды и подумала: как славно все складывается! Но именно в эту минуту Саша взглянул на часы, вскочил и со словами: «Извините, я чертовски опаздываю!» – побежал.

Это было для Тины – как ледышка из сна. Она стояла в растерянности, не зная что делать, как быть. Никто не обращал на нее внимания. Куда он? По вызову начальства? К Юле? Но бросить ее одну? Обескураженная, раздосадован-

ная, она постояла в темноте и как можно незаметнее постаралась выскользнуть из комнаты. В конце коридора горела лампочка, она устремила к той лампочке и оказалась на лестнице. Побежала стремглав – и на повороте чуть не врезалась в огромный бюст Ленина.

Дома навстречу выплыла мама с сердитым лицом: «Ты почему ушла, не предупредив?». Боже мой, думала Тина, когда же я стану ни от кого не зависимой и, как говорит мама, всем приятной? Саша бежит от нее и совершенно выбивает из колеи...

Понятливый – и упрямый. Югославское дело

1

Лампочки в аудитории горели слабо, малый свет освещал лишь первые ряды. Филипп сидел в первом ряду и старательно записывал лекцию. Взлохмаченный, в очках, он склонился над тетрадью и напоминал колдуна – казалось, он не лекцию записывает, а делает алхимические вычисления. Лектор, сухопарый и длиннорукий, такой же странный, как Филя, бегал вокруг кафедры, волосы развевались, образуя что-то вроде нимба. Древнегреческие гекзаметры звучали у него торжественно и высокопарно:

Никто никогда не узнает, что боги готовят смертным,
Никто никогда не узнает, откуда приходит горе...
Эрос пронзает сердце...
Но доброты не ценит надменная Медея...

В аудитории шумно. Но два человека – профессор и Филя – не замечают шума: они поглощены Древней Грецией. Филипп представлял себе жестокую Медею, умертвившую своих сыновей, и сердце его пылало негодованием. Впрочем, по

лицу его никто бы об этом не догадался, под толстыми очками не заметил бы повлажневших глаз. Мысль его от Медеи перенеслась к матери, и он повторял: «Никто никогда не узнает того, что тогда увидел...» А увидел он свою мать однажды в объятьях чужого мужчины. Филя сидел за шкафом, а они целовались. Нередко вечерами мать надевала свое знаменитое, японского шелка, лиловое платье, желтую шляпу с пером, говорила про какой-нибудь концерт – и уходила. Медея! Филя мрачно сопел носом.

Лекция закончилась к обеду, и Филя сразу побежал домой. Он рассчитывал сегодня еще попасть в академию – туда теперь ходила его сестра, да и Сашка звал на вечер, – приближалось 7 ноября. Но Филю гораздо больше привлекало то, что по телевизору в тот день должны показать греческую трагедию: приехала греческая актриса.

Осторожно, своим ключом открыв дверь, – только бы не услышала мать! – неслышно вымыл руки, пробрался на кухню и, аккуратно положив очки на фланелевую тряпочку, принялся есть. Тихо отобедал, вычистил зубы, и тут – ах ты! – вышла из своей комнаты Вероника Георгиевна.

– Ты пришел? – раздался томный голос. – Что же не являешься?

– Почему я должен являться?

– Ну ладно... Как дела в институте?

– Ничего, как обычно, – буркнул он.

– Что проходите по литературе?

– Начали Еврипида. Читает профессор Мамонтов.

– Кто? Ма-амонтов? – протянула она.

– Я же сказал – Мамонтов!

– Что ты кричишь?.. Мамонтов. О-о! Когда-то он работал в нашем институте и всегда находил повод заглянуть в мою комнату, можно сказать, был моим поклонником.

– Послушать тебя, так все были твоими поклонниками.

– Не все, но многие.

– Я пошел.

– Что значит «пошел»? Мне надо, чтобы ты вынес мусор, снял шторы.

– Не могу, – Филя уже надевал куртку.

– Безобразие!

– Могу я делать, что хочу?

– Грубиян! – махнула рукой мадам и, вздохнув, царственной походкой отправилась к себе.

Филя спешил в клуб к телевизору. Придя, услышал, как диктор объявил, что в программе произошла замена: вместо греческой трагедии – пьеса Сурова «Московский характер». Он взъерошил волосы и с досадой покинул комнату.

Между тем народ в клубе уже готовился к представлению. Офицеры, военные превратились на этот вечер в гражданских и напоминали манекенов из ЦУМа: негнущиеся пиджаки, нелепые галстуки, деревянные движения. Забившись в дальний угол актового зала, Филя внимательно ощупывал их глазами. На голове его топорщился хохолок, нижняя челюсть

в нетерпении двигалась, — он напоминал носорога, готового устремиться вперед.

Впрочем, скоро выражение любопытства сменилось скукой, тогда он открыл книгу и стал повторять: «Никто никогда не узнает, что боги готовят смертным. Никто никогда не узнает, откуда приходит горе...»

Из-за красного занавеса доносились звуки настраиваемых инструментов, мужские голоса, женский смех. Наконец, тяжело пополз красный бархатный занавес с желтыми кистями, и предстал «иконостас» зеленоватых мундиров с блестящими «эполетами» и значками. Объявили ораторию — и понеслись величавые и торжественные звуки.

Как он не любил эти пафосные оратории! Оратория — от слова «орать»? Но — странно — под эту музыку в воображении всплыл Олимп, древние песнопения в честь Зевса. А может быть, это голоса циклопов из древнегреческого мифа? Или даже из Титаномахии? В лице его теперь появилось что-то от сфинкса: чтобы не поддаваться чужой воле — музыке, Филя ушел в себя.

В первом ряду, в самом центре хора стоял Саша. Неужели и он участвует в этом устрашающем наступлении басов и баритонов? Занавес зашуршал, хор исчез — и на фоне красного бархата появился молоденький лейтенант. Он читал стихотворение Маршака про снеговые просторы, про недвижных часовых Мавзолея, про посыльного, который направлялся в Кремль:

А он спешит, промчавшийся сквозь дали,
К вождю народов прямо на прием,
Ему задание даст товарищ Сталин,
И он пойдет намеченным путем.

Филя опять заскучал. Но тут на сцену выпорхнули две пышные короткие юбки колоколом, венки и ленты, красные сапожки. Да это ж те девушки, которых он видел в клубной комнате!

Однако... к четверем красным сапожкам вдруг присоединились четверо черных сапог: два молодца в лихо заломленных каракулевых шапках и вышитых жилетках. «Танцуй, танцуй, выкруца, выкруца...» Какие, однако, они выделяются коленца! А-а, догадался Филя, это ж тот самый Йозеф, или Ежи, венгр, а второй – чех по имени, кажется, Милан! Красавицы – какая лучше? Ляля с белокурыми локонами – или шатенка Галя? Он непременно сегодня какую-нибудь из них пригласит на танец...

В отличие от сестры, Филя не был застенчив и робок, и как только объявили танцы, направился к красоткам, окруженным офицерами-иностранцами. Смело взял за руку Лялю. Она взглянула на него и, как бы сама удивляясь, положила руку на плечо. Танцор Филя был никудышный, наступал ей на ноги, но продолжал вертеть партнершу в фокстроте. Она смеялась: «Хорошо, что не на обе сразу... Если бы вы были моим мужем, я бы научила вас танцевать».

В ответ он возьми и скажи:

– А что? Я согласен.

Снова раздался серебристый смех, она обернулась, ища кого-то глазами. Филя понял: того венгра, Йозефа. Задетый этим, остановился посреди танца и покинул Лялю.

Забившись в угол, еще некоторое время смотрел на зал. Кто это так шикарно танцует? Идет по широкому кругу. С кем? Да с его собственной сестрой – Сашка! И как танцуют! Филипп надулся и двинулся к выходу. Выходя, он чувствовал, как за спиной плавают зал, людный зал качался под звуки «Амурских волн», а в глубине его существа что-то тоскливо сжималось. Вот и действовал он по своей воле, никого не слушал, но – почему такое дурное настроение?..

А сестра его тем временем продолжала кружиться и не переставала по-дурацки улыбаться: никогда Филипп не видел ее такой.

Казалось, это кружение не прекращалось и тогда, когда Тина с Сашей возвращались домой. Шагали по Садовому кольцу. Он шутил, читал стихи, раскланиваясь и взмахивая руками. Она как бы витала над землей, а может быть, плавала в синей воде сновидений. И все было опять как тогда, на лестнице, и она уже забыла, что потом его снова видела с Юлей...

В подъезде дома на Басманной у почтового ящика остановились. Он держал ее руки, глядел на ее губы и вдруг медленно приблизил свое лицо к ее лицу. Но тут – и почему с

ней такое всегда случается! – уперся в почтовый ящик, и под ноги упал конверт. Поднеся его к глазам, Саша насмешливо заметил:

– Это вам, дорогая... товарищ Левашова. Да, да... и опять от всесоюзного старосты Калинина. Пожалуйте, мадемуазель, вручаю! Только что бы все это значило? – последние слова он крикнул, уже взбежав на несколько ступенек. – Пока!

– Пока, – прошептала она упавшим голосом.

2

Почти месяц Валентина не встречала Сашу ни в академии, ни дома, а он не искал ее. Зато опять пришло письмо из Калинина.

«Дорогая Валя, вы пишете, что наши взгляды разнятся, не похожи, однако я с вами не соглашаюсь. Просто дело в том, что я старше вас... Я кое-что узнал от своего дяди, который не верил, что в России можно построить коммунизм, потому я давно выбросил розовые очки, вы же их носите, и, надо сказать, они вам очень идут. Так что носите на здоровье!.. Вы холодны, умны. Зато я со свойственной мне страстью (как уверяете вы) сейчас увлекся Древним Египтом. Будущий конструктор, механизатор – и Египет? – удивитесь вы. Что делать? Мир, жизнь – сплошная загадка, как и Египет... Условия моей жизни, Валечка, были таковы, что я не

расходо­вал все хоро­шее, а накап­ли­вал внут­ри, что­бы от­дать од­но­му-един­ствен­но­му че­ло­ве­ку. Вам не нра­вится мо­е об­ъяс­не­ние? Оно пугает вас, я знаю. Но что де­лать? Та­кой мой „н­драв“. Если при­хо­дит ко мне чув­ство, то я весь в его вла­сти. С ва­шей сто­ро­ны, ми­лая иде­алист­ка, ко­неч­но, все ина­че. И все же... Смот­рите в се­бя, в ме­ня, я ни на чем не на­стаиваю, не то­роплю, но на­деж­ды не теряю...

Я жа­лею, что кон­чи­лись на­ши си­де­ния в по­ли­кли­ни­ке, — с ка­ким бы удо­воль­ст­вием я по­лу­чил ра­не­ние, что­бы опя­ть вер­нуть­ся ту­да! И все же, ска­жи­те: ко­гда и где мы уви­ди­м­ся? При­ка­жи­те! У вас до­ма, в те­ат­ре, в кон­сер­ва­то­рии? Жду!»

...Они встре­ти­лись у кон­сер­ва­тор­ских ко­лонн, пе­ред кон­цер­том Ги­ле­ль­са. Бы­ло про­хлад­но — сто­ял сен­тябрь, но Вик­тор явил­ся в лег­кой курт­ке, ском­би­ни­ро­ван­ной из двух тка­ней, в за­но­шен­ных брю­ках. Од­на­ко слу­шал му­зы­ку Брам­са как за­гип­но­ти­зи­ро­ван­ный, по­жи­рая гла­за­ми Ги­ле­ль­са, его су­ту­лую фи­гу­ру, ры­жую ко­п­ну во­лос, мо­гучие плечи. Из­под тол­стых пал­цев пи­ани­ста вы­ры­ва­лись мо­щные, страст­ные зву­ки.

По­том дол­го мол­чал, по­ра­жен­ный — ви­ди­мо, это бы­ло пер­вое его по­се­ще­ние кон­сер­ва­то­рии. А Ва­ля рас­ска­зы­ва­ла о Ни­ко­лае Ру­бин­штей­не и Чай­ков­ском, их дру­жбе-вра­жде, считала, что кон­сер­ва­то­рии не­правильно дано имя Чай­ков­ско­го — ведь соз­да­вал-то ее Ру­бин­штейн.

На об­рат­ном пу­ти этот ду­ра­лей Вик­тор опя­ть за­го­во­рил о любви.

– Знаете, кто была первая женщина, которую я полюбил? Музыкантша, и на пятнадцать лет старше меня! У нее была чудная серебристая седина и... такая же умная головка, как у вас. А что вы скажете о первой любви?

– Я? – смутилась Валя. – По-моему, первая любовь должна быть единственной.

Он рассмеялся:

– Вы идеалистка! Во всем.

– Что тут плохого?

– Ничего, ничего! Вы просто ангел, которого я недостоин.

Снова вспомнил Азию и перешел на «ты»:

– Представь себе: там все кишит микробами, инфекциями, а спасаются азиаты перцем и луком! Черные мухи стаями, облаками вьются у шашлычных! Лезут в глаза, в нос. Однажды они так меня довели, что я крикнул: «Господи, возьми мою жизнь – только избавь всех от мух!».

Валя от души расхохоталась, подумав: «Смешной и ненормальный? А все же любопытный тип мне попался», и заметила:

– Да вы какой-то Дон Кихот!.. А с кем вы там живете, в Калининe?

Вместо того чтобы просто ответить, он начал какое-то полусказочное повествование:

– Представь себе воронью слободку. Избушка на курьих ножках, и в ней обитают... Баба-Яга, Кощей Бессмертный и девица-некрасавица. Представила? Теперь прислушайся, ка-

кие там звуки... Прислушалась? Стук, скрежет, визг и ор, причем кто кого перекричит. Вот такая семейка. Нет, не у меня, конечно, я снимаю комнату в этом сумасшедшем доме. Я бы сбежал оттуда, но – интересно иметь дело с Кощеем Бессмертным... Это такой изобретатель! – у него есть чему поучиться. А мне с конструкторскими мозгами только это и нужно. Он что-то колдует, что-то с чем-то смешивает – склянки, банки, весы, безмены, пробирки... Изобретает какой-то эликсир жизни, но из чего – не говорит.

А знаешь, что было с ним в молодые годы! Жил у самой Хозяйки Медной горы, на Урале. Как начнет рассказывать – только уши подставляй! Служил у татар, а те не имели права рыть золото и заставляли это делать русских. И он стал золотоискателем. А чтоб не сбежали русские с золотишком, каким-то образом делали им на теле ямки татарскими пулями. Когда возвращались искатели не с пустыми руками, начинался пир! Беднякам ставили самовары водки, добытчики шастали по рынкам и стреляли куда придется – в кувшины с молоком, с медом... Золото татары сдавали в торгсин – и товары в руки. Один раз на базаре хозяина моего так отлупили, что еле выжил. Но тут оказалась возле него волшебница (учительница она была), напоила несчастного мочой беременной женщины – и он воскрес! С тех пор колдует. Я сижу у него часами, гляжу, спрашиваю, а он мне: «Ты, Витек, у меня как будильник. Что спросишь – то проясняется во мне, сомнения сваливаются с плеч!»

– Однако, – продолжал Виктор, – если бы не Баба-Яга... Она держится за своего Кощея только из-за золота – видать, немало его там... Ну и дочка у них – не дай бог! Язык – что топор, сама из себя видная, однако ее бы только к гостинице «Москва»...

Слушала Валентина рассеянно, вспоминала тот так чудно начавшийся вечер с Сашей и так нелепо кончившийся из-за того же Виктора. Если бы не почтовый ящик...

С тех пор Саша ни разу не заходил ни в РИО, ни домой. А может быть, стоит пригласить этого Дон Кихота к себе? И Сашу. Мама говорила, что мужчин надо сталкивать лбами, чтобы они умнели. Скоро Новый год, вот и повод...

На следующий день под вечер зашла к матери. Горела настольная лампа. Мать, сидя за столиком, что-то рассматривала. Освещены пышные волосы, собранные в пучок, глаза мерцают, плечи обнимает шелковая шаль времен Анастасии Вяльцевой. Красивая дама с богатым прошлым смотрит на песочные часы. Пересыплется песок – она перевернет и снова вперит взор.

– Я хочу с тобой поговорить, мамочка...

– Тина? Иди, садись.

Взгляд упал на то, что лежало на коленях у матери. Это была шкатулка.

– Какая красивая! – не удержалась Тина. – Почему ты никогда не показывала? Что это за буквы? Нерусские... Откуда

она у тебя?

– Из другой жизни... Это было давно, еще до революции. Таких шкатулок всего две.

– С ней что-то связано? История? Может быть, твоя первая любовь?

– О-о-о, дочура, ты бываешь порой догадлива. Да, моя милая, тут отпечатки любви.

– Расскажи!

– В другой раз, – выходя из задумчивости, отвечала Вероника Георгиевна. – Ну, будет! Говори, что у тебя стряслось.

– Стряслось? Да нет, просто я хотела спросить. Скоро Новый год, а у меня появился новый знакомый.

– Поклонник? – оживилась мать.

– Не знаю. Может быть, пригласить его? Ты не будешь против?.. – она взглянула на шкатулку: – Что тут инкрустировано?

– Je reviendrai – по-французски.

– Что это значит?

– «Я вернусь!» – вот что это значит. – Вероника Георгиевна поглаживала шкатулку, любуясь зеленоватыми, желтоватыми, ореховыми вкраплениями на палисандровом дереве. Рассеянно сказала: – Приглашай кого хочешь, только не тридцать первого, конечно. Посмотрю, что у тебя за поклонник. Ты у меня девочка доверчивая, – она обняла Валю. – Нескладеха-неумеха в женских делах...

Протянув руку, она перевернула песочные часы, шкатулку

спрятала в ящик и заперла. Валя поняла: разговор окончен. Поцеловала мать и удалилась.

Вернувшись к себе, открыла учебник истории (по совету Саши она поступила на вечерний в полиграфический институт), но еще целый час предавалась размышлениям и не перевернула ни одной страницы. Что будет, если они встретятся, Виктор и Саша?.. Она сошьет себе юбку-клеш, наденет синюю кофточку, – и держись, Саша!

Была не только сшита новая юбка – украшена елка, повешен транспарант со словами: «С Новым, счастливым 1952 годом!». Вокруг елки насыпана мелко нарезанная серебристая фольга.

Все готово! Главное – прекрасное, какое-то шальное настроение.

Но – в последний день уходящего года пришло письмо из Калинина, и не от Виктора: почерк был незнакомый. Суровые брови поползли вверх. Вскрыв конверт, Валентина обнаружила четвертушку тетрадного листа с корявыми буквами: «Я – хозяйка дома, в котором живет ваш знакомый. Предупреждаю: он не тот, за кого себя выдает».

Словно кто высыпал перец на сладкое блюдо...

3

Настроение после письма неведомой хозяйки испортилось, но изменить что-либо было уже поздно: завтра первое

января. Приглашены Галя с Миланом, Ляля с Ежи, Саша с матерью. Страны народной демократии сближались, там, кажется, тоже побеждал социализм, и число слушателей военной академии росло. Фили не будет – в последнее время у него новое увлечение: музеи, пропадает там целыми днями.

Виктор Райнер явился, конечно, первым. Мать сразу оценила рост, стать, белокурые волосы гостя и одарила его одной из самых очаровательных улыбок.

Круглолицый, со светлыми девичьими глазами, Петр Васильевич тоже встретил гостя приветливо, усадил на кожаный диван, и меж ними завязался оживленный разговор на технические темы. До Вали доносился напористый молодой баритон:

– Я всегда любил природу, и так же точно технику, а как их соединить – не додумывался! И вот недавно сконструировал свеклоуборочный комбайн. Свекла – это же чудо природы! Громада листьев над землей, и сладкий конус, уходящий вниз...

– Электрический привод будет? – спросил отец.

– Написал насчет этого бумагу, послал куда надо, но от бюрократов, чиновников – ни звука!

– Это у нас умеют, тянуть, не пушать, – поддакнул отец.

Вскоре явились остальные гости, все, кроме Саши. Пришла только его мать... Но каков Виктор? Он с каждым находит общий язык, умеет завладеть вниманием, фигура его в клетчатой ковбойке возвышается то тут, то там.

Милану поведал про чеха, который жил у них в Пржевальске, делал детишкам свистульки, фигурки из чинары. С Сашиной мамой Полиной Степановной заговорил про Среднюю Азию, и она оживилась:

– В каких городах вы там жили?

– В Ташкенте, Бухаре, Фрунзе...

– Фрунзе тогда назывался Бишкек. Боже мой! – воскликнула она. – Да я ж чуть не два года болталась там после детского дома. Хотите, расскажу? Представьте: двадцатые годы, нас выпустили из детдома – что делать? Одна, посоветоваться не с кем, подруга зовет: «Поедем да поедем со мной». Отец ее там от голода спасался. Я и поехала. Единственное, что было у нас ценного, – это сепаратор, откуда он взялся, не помню, только дорогой мы думали: продадим его – будут деньги. Добрались до Саратова, там на рынке продали, вернее, обменяли сепаратор, а нам, – она заразительно рассмеялась, – всучили за него швейную машинку... без челнока, и обнаружили мы это уже в Бишкеке. Дом у отца моей Тоньки – хоромы царские. Ели – как никогда, молоко пили вволю... Потом отправились в Токмак, это такая глушь – жуть! Целую неделю пешком шли, да еще босиком! Я там пионерский отряд организовала, русскому языку учила, играм, песням!

– К-к-как же вас замуж не умыкнули, казах какой или киргиз?

Рассеянно слушая разговор, Тина ломала голову: что означают слова хозяйки? «Он не тот, за кого себя выдает».

И снова прислушивалась к шагам на лестнице: не идет ли Саша?

– Ой, и это было! – всплеснула руками Полина Степановна. – Один узбек пристал: иди да иди ко мне пятой женой. Это мне-то, самостоятельной детдомовке! Я возьми и скажи. «Возьми у меня швейную машинку за сто рублей. Замуж я за тебя не пойду – я комсомолка, а ты кто?». И, представьте, он говорит: вот тебе сто рублей, а в этот комсомол я тоже запишусь... Смеху было!.. Мы с Тонькой потом на те сто рублей чуть не три месяца жили... Только киргиз оказался упорный, как встретит – грозит: готовься, все равно тебя украду, опозорю, не будет тебе тут житья. Вот когда я испугалась так испугалась! Что, думаю, делать? Отчаянная я была, решила: уеду из этой Азии, но как? Посоветовали мне: езжай, говорят, в Бишкек, там есть хороший большой начальник, правда, немец, проси его...

– Немец? – Виктор резко обернулся. – Как его фамилия, не помните?

– Да как же не помнить, если он спас меня от того киргиза? Дал справку, что я отработала свое и могу уезжать. Райнер его фамилия.

– Райнер? Так это же мой отец!

– Вот здорово! Давайте ваши пять. – Сашина мама вскочила и пожала его руку.

– А где он теперь? – некстати задала вопрос Валя.

Гость медленно перевел на нее взгляд, но промолчал.

Петр Васильевич стал разливать шампанское:

– Нечасто встречаются нам те, кто выручил нас когда-то из беды. Может быть, выпьем по этому случаю?

Милан и Ежи (так они его называли), похоже, только и ждали этой минуты, сразу стало шумно, кавалеры подхватили девушек и, не обращая внимания на отсутствие музыки, закружились посреди комнаты. Вероника Георгиевна, мерцая томными глазами, благосклонно смотрела на молодых.

Милан воодушевился, на лице его заиграла обезоруживающая улыбка.

– Русские есть? Есть. Венгр есть, чех тоже. Виктор, ты латыш? Немец? Азия тут тоже... Значит, Интернационал, дружба? Ура!

– Отличный тост, – подхватила Полина Степановна. – Я – за!

Маленькая, энергичная, она была женщиной легендарной. Сирота с ранних лет, росла в детском доме, мечтала стать летчицей, но из-за маленького роста ее не взяли в училище. Все же попала в армию, была на фронте, дослужилась до майора. В компаниях всех заражала энергией. От детдома, правда, у нее осталась дурная привычка называть друзей Нюрка, Верка, Колька, но получалось это не грубо, по-свойски.

Йозеф не без труда подобрал русские слова:

– В академии у нас... есть кореец, китаец, немец, болгар... Это есть хорошо... Но дружба имеет... и острый угол.

– Вот именно! – сердито буркнул Виктор. – Когда-то мой

отец, а он был юрист, насчет дружбы народов написал свои замечания. В тридцать шестом году. И послал в Кремль, так его за это сослали в дальние края.

При этих словах Вероника Георгиевна насторожилась, встала и перебила гостя:

– Тина, заведи патефон, поставь пластинку... – а Виктору дала знак следовать за ней.

Валя поняла: сейчас будет внушение, мать не допускала разговоров о политике. И правда: спустя несколько минут Виктор, притихший, сел в уголке и стал рассматривать журналы. Хозяйка с очаровательной улыбкой взглянула на мужа:

– Петр Васильевич, за кого мы еще не выпили, а? Сильная половина человечества!

Муж в это время шептал соседке что-то о пролетарской косточке, о том, что они с соседкой, должно быть, произошли от одной обезьяны, о первой стране социализма, как сбросили буржуев. Но, услышав голос супруги, тут же поднял бокал.

– За наших милых, прекрасных женщин!.. Черт возьми.

Петр Васильевич был не просто хороший человек, исполнительный (за что его и выбрали секретарем парткома), – еще и удобный, понятливый.

Не успели выпить за милых дам, как опять поднялся Виктор, – что на него нашло? – будто и не слушал нравоучений хозяйки. И закатил.

– Нет, вы только почитайте! Я тут листал «Огонек» – что

там пишут, а особенно фотографируют? Одни передовики производства, сплошные плакаты! Смотрят в светлое будущее, и ни капли живого чувства! Какие-то идиотские улыбки... Если бы только у доярок... эт-то... даже коровы улыбаются... И никакой критики в собственный адрес, такое самодовольство! Критикуют только американский империализм, будто у нас – сплошной рай, будто все мы – глухонемые.

– Если журнал «Огонек» не дает критики, то позор такому журналу. Пережитков капитализма у нас еще хватает, – подхватила Полина Степановна.

Петр Васильевич нахохлился, он чувствовал, что придет конец терпению его супруги, а тогда...

Хуже всего было иностранцам, которые не понимали всех тонкостей русского языка. С лица чеха Милана сошла улыбка. Ежи напрягся, лицо стало жестким. Лицо Вероники Георгиевны покрылось красными пятнами, она ткнула палец в спину речистого гостя, прошептав:

– Вам не кажется, что вы говорите лишнее?

Тина же больше прислушивалась к шагам на лестнице, смотрела на дверь, то и дело поправляя высокие модные плечики новой блузки.

Саша появился поздно, когда девушки и кавалеры-иностранцы уже покидали компанию. Он с ходу поздоровался и распрощался с ними, никого не задерживая. Без всяких приветствий и тостов сел за стол и принялся жадно, молча жевать, что подвертывалось под руку.

Потом откинулся на стуле и вперил глаза в Виктора, спросив Тину:

– Тот самый, «всесоюзный староста»?

Виктора это задело, он был готов распетушиться, но опоздавший гость, опрокинув еще одну рюмку водки, объявил:

– В академии ЧП: застрелился генерал Ковалевский.

Вероника Георгиевна нервно замахала веером.

Петр Васильевич побледнел, Сашина мать вскочила:

– Как? В чем дело?

Саша отвечал в несколько приемов:

– Дело в том, что... в общем, замешано югославское дело.

Он имел золотой югославский знак, его потребовали сдать, а генерал ответил, что награды не возвращают. Хотели, чтобы он заклеил Тито и его клику.

– Да все это дело рук Сталина! – вскричал Виктор. – Вы что, не понимаете, что он не терпит сопротивления? А у Тито оказалась своя голова!

– Молодой человек, не кажется ли вам, – голос Саши звучал угрожающе, – что вы путаете одно с другим?

– Что думаю – то и говорю!

Тина готова была провалиться сквозь землю: не хватало еще драки! Она впервые видела таким Сашу. Если это ревность – то глупая, а если из-за Сталина – то тоже неумно.

– Ребята, тише, перестаньте! – подала голос Полина Степановна.

Но Виктор лез на рожон.

– Значит, я оскорбил Усатого? По-вашему, в нем нельзя усомниться? – Он налил водки, протянул вперед руку, как древний Гракх, и возгласил: – Д-д-довольно его! Вот увидите, мы живем под его сапогом последний год!

И тут Саша ударил его:

– Вот тебе за Сталина!

Все онемели. Вероника Георгиевна подняла руку с дымящейся папиросой и тихим голосом проговорила, глядя на Виктора, засучившего рукава:

– Прошу вас немедленно покинуть мой дом.

Разбушевавшийся «правдолюбец» перевел взгляд на Тину, словно ища у нее защиты, но она отвернулась. Тогда, схватив пальто на вешалке, он выскочил из квартиры и что есть силы хлопнул дверью. Полина Степановна растерялась:

– Подумать только: его отец спас меня в Азии...

– Пойдем, мать. – Саша взял ее за руку. – Извините, пожалуйста, я, кажется, испортил всем настроение... – Он обернулся к Тине: – А вам, дорогая Дездемоночка, позвольте дать совет: впредь поумнее выбирать поклонников.

Тина выпрямила спину, дернула себя за косу, сдвинув суровые брови. Ах, как же она глупа, неловка, неопытна! А еще говорят, что юность – утро жизни! Глупое утро. Что она натворила, зачем собрала их вместе?

...Полупустой вагон. Поезд. Черная ночь.

Долговязый парень в телогрейке и нахлобученной на глаза вязаной шапке открыл дверь и оглядел вагон. К кому присоседиться? Он недавно из лагеря, еще не знает вольной жизни и жаждет беседовать с какими-нибудь толковыми людьми. К тому же у Вали-Валентины поссорился с ее матерью, а с Сашкой чуть не подрался. Из-за чего? Назвал Николая II маломощным царем, мол, из-за него Россия проиграла мировую войну. «Очень глупо! Были и другие силы!» – сказала Вероника Георгиевна и хлопнула рукой по столу. А Сашка, конечно, стал защищать Сталина, Виктора обозвал немецким анархистом, но Валя-Валентина ни слова не сказала в его защиту.

В гулком вагоне (только какой-нибудь горемыка может ехать в такое время) глаза Райнера быстро обшарили скамейки и на одной из них обнаружили бородатого человека в заячьей шапке. Ага, тут его место! – старые люди разговорчивы. Авось выбьет из дурашливой его головы охапки обид, досад, нравоучений, Райнер сел рядом и не ошибся. Спустя некоторое время старик развязал ушанку, и стала видна аккуратно, на французский манер подстриженная борода. Они разговорились.

– ...Знаешь, парень, какой год был самым богатым в

нашей истории? 1913-й! А какой стал роковым? Их было несколько, но главный – 1914-й. Германцы посреди лета железными шагами двинулись по нашей земле... Самоубийственно это было. В тот год отец мой – а он был священник – определил меня в духовное училище. Мне не стукнуло еще и семи лет, однако взял он с меня слово, что буду учиться, стараться... Только учение – не вся причина жизни. Главное – гены, а в моем роду, видно, хватало и татар, и казаков, и бешеных... Учился я с усердием. И вдруг – Россия ввязалась в ту войну, батюшка мой оставил нас, уехал на фронт. О Господи!.. Поехал судовым священником. Мать рыдала... А он говорит: «Бог меня позвал. Толкнул нынче во сне и спрашивает: кто утешать станет наших моряков, солдатушек?». Мать в слезах валялась, молила, только он – ни в какую. Попал на море, Балтийское, сперва служил в части береговой охраны, потом на минном заградителе... Ударил в них бомба. Моторы повреждены – куда деваться, что делать? Командир приказал грузиться в шлюпки. Матросы один за одним прыгали в лодки, а капитан не двигался. И батюшка мой тоже стоял, осенял всех крестом: «Спаси, Господи, люди Твоя!». Командир приказал ему садиться в лодку, только он не желал раньше командира. Днище уже пробито, вода хлещет... Ноги в воде, грудь в воде, а он все крестит. Так и не успел сойти с корабля, погиб, вместе с кораблем и с капитаном ушел под воду. Бились русские на той войне и победили бы, кабы не предатели.

Виктор слушал, недовольно подергивая головой.

– Не умели мы воевать, вот и рухнули куда-то...

– Э-э, не так просто. Россия падала в пропасть... А я думал, куда же Бог-то смотрит?! Куда молитвы чистые делись, куда вера слабая залегла?.. Семинарию задумал я бросить... Дьявол, видно, влез в мою душу. Сон потерял... А однажды вижу во сне: кругом пространство великое, а в середине чернота, яма, и я на самом краю стою... и гамак висит, в гамаке он, Дьявол, лежит. Ухмыляется, руки потирает. Вокруг него точки блестящие – черти веселятся. Раздался мерзкий его раскатистый глас: мол, время мое наступает, победил я всех! И меня зовет. Уже хотел я встать и идти, только вдруг лучик яркий с неба упал – это во сне-то! – вроде как знак мне! Отскочил я от края бездны и бежать... А проснулся – не на кровати, а на полу. Вроде отринул я царство Сатаны.

Старик далеко ушел в свое прошлое, замолчал.

– А каких людей я повидал! Какие были люди! Звезды, кометы!

– Кого вы имеете в виду? – спросил Виктор.

– О, многих, и самых разных! Про отца своего уже сказал. А вот возьми прежний городишко Касимов, старое время. Привезли туда князя – музыкант, дирижер из Петербурга, опала царская ему вышла, сослали его. Давно это было. Поверишь ли, душа такая у него была, что весь городок ходунном заходил... Не мог он просто в глуши сидеть после столиц мира. И решил бежать. Так что придумал? Велел строить та-

кую снеговую гору, чтобы выше всех была, чтоб кататься по ней... Только цель была у него своя: однажды снарядился, сел в сани, съехал с горы – и след простыл, бежал! Вот какой человек... А потом дошли до нас слухи, что удрал он то ли в Париж, то ли в Лондон и там опять музыку играл... Если удачи не было на концерте, сам покупал цветы, велел подносить себе, а коли цветы есть, то и аплодисменты. Энергия из него так и брызгала!

А вот что я тебе скажу! Ведь Россия-то перед той войной была на первом месте в Европе! Фабрики, заводы, железные дороги – все строилось! Конечно, это еще от царя Петра пошло, но и Екатерина не хотела от него отставать. И вот что она надумала: земля между Волгой и Доном пустовала, и решила – умная была баба! – пригласить немецких колонистов, они живо-два замесят там дело. Бывал я в тех местах и видел чудеса. Немец Фалыц-Фейн женился на русской барышне Епанчиной, и заиграли те земли! Такое овцеводство развели, такую торговлю – чудо. А эта Епанчина даже порт устроила на море, чтобы сподручнее было торговать. Император приезжал, хвалил, любовался.

Тут Виктор не выдержал и задал прямой вопрос:

– Так что же, вы, значит, за монархию? За царя?

– Дурная твоя башка! У монархов тоже кое-что было хорошее – взять ту же религию... Эх-ма! А я, дурак, из семинарии ушел.

– Что случилось, почему ушли?

– Да-а-а. Училище я не кончил... Однажды встретился мне один человек, лесковский тип, и сказал: время духовных академий кончается, уходи, пока не поздно. Я и ушел. Решил, что за отца отомстить должен. Рост у меня – верста коломенская, организм могучий, не для священного сана. Однако главное – отправился я к отцу Александру в Оптину пустынь, благословения просить. Отец Александр тоже из людей таких, каких нынче не осталось: ясного ума, златоуст, чистой совести, а тих – как вода на рассвете. «Поступай, брате, как знаешь, – сказал он. – Если просится душа на войну – иди. Благословляю». Так, почти мальчишкой, оказался я на войне – кровь предков заиграла. Беды-то людские отчего? Не найдешь узды на свой норов!.. На том и кончилось голубиное мое время и опять началось звериное. Война – это и есть время зверей человеческих: не только человека она убивает, целые народы корежит...

– Как это?

– Да-а, скоро не узнать стало русского народа, понятия его изувечились: любовь к царю, к Богу обратилась в анархию, патриотизм – в досаду. Сметливые умом торговцы стали скорохватами, в язык русский потоком хлынули матерные слова – война, одно слово... Совесть стала нечистая, все дозволено, а отвечать перед кем?

– Трон под царем закачался? Так ему и надо, – пробубнил Виктор.

Старик словно не услышал:

– Уже и командиров не слушались... Мне-то попался командир славный. Бывало, всякий день в бочке мылся и слова вежливые говорил. А коли в атаку идти – первым встанет да как закричит: «Эй вы, русские люди, ваньки-встаньки, нас не возьмешь! Поднялись все – и вперед!». За отечество готов жизнь отдать, только сказывал: мол, не с немцами более воевать приходится, а со штабными да с крысами. Штаб не давал оружия, воля к войне ослабела, а тут еще эти крысы, – и ненависть к врагу затихать стала. Долго ненавистью русский человек жить не может, ему бы сразу оглоблей бах – и все! Кончай воевать, кричат... Командир не выдержал – и застрелился: не мог потери чести перенести.

А знаешь, кому выпало сопровождать его тело в Петербург? Какого человека определили! Подумать только! – храбрец, георгиевский кавалер, аристократ, да еще поэт. Слыхал такую фамилию – Гумилёв? Вот-вот, он самый... Каково поэту труп везти? Охо-хо-хо-нюшки. И меня с ним снарядили. Чего только не нагладелся я, не наслушался в ту Первую мировую!

Поезд дернулся и замедлил ход.

– Никак Калинин? Твой городишко, парень. Выходи-ка! Ты кто есть-то? Фамилия?

– Райнер я, Виктор, – и, схватив обе руки странного спутника, сжал их что было силы: – Не могу я так просто с вами навсегда расстаться! Быстро говорите: имя, где живете, чем занимаетесь!

– Зовут меня Никита Строев. Живу я в Вышнем Волочке, так что ищи. А может, опять поезд нас столкнет.

Виктор в два прыжка очутился у дверей и спрыгнул на платформу.

Протиснулся в здание вокзала, только недавно восстановленное. Горела всего одна лампочка, а под ней какой-то лозунг. Райнер с трудом прочитал: «Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Хлопнул тяжелой дверью, и его поглотила черная ночь. Дурной осадок от вечера, проведенного у Валентины, стерся, зато слова спутника опять смутили: и царя защищает, и Маркса признает – как это?

Человек Богу не удался?

Настроение у Вали Левашовой после того новогоднего вечера совсем испортилось. Склонная по молодости к меланхолии, она все грустила и грустила.

Вечерами, после ужина. Медленно, очень медленно перемывала и перетирала посуду. По утрам долго-долго убирала в комнатах. Сочувствовала родителям, особенно мамочке, которая вторую неделю лежала с сердечным приступом и не желала с ней разговаривать.

За окнами бушевали ветры, снег падал и падал, слепил глаза и окна. По ночам снились сны, лишённые всякого смысла и логики.

Снова позвонил Райнер, стал глупо извиняться и, запинаясь, умолял Валентину встретиться. Он появился даже на пороге, но ее мать тут же захлопнула дверь, чуть не защемив ему пальцы. Валя, казалось, совершенно потеряла волю.

Но однажды под утро ей приснился сон: ее молодая красивая мама в шелковом платье, роскошном платке на плечах. Платок упал на пол, и кто-то черный стал его резать на мелкие части... На другой день Валя решила рассказать свой сон. Вероника Георгиевна, не удостоив ее царственным поворотом головы, небрежно сказала:

– Сон о платке? Это было в моей жизни... не во сне, а наяву... Так что тебе, Тина, привиделось кое-что из моего

прошлого. Что ж? Обычные генетические беседы... Этот человек говорил, что, видимо, Бог поторопился и человек Богу не удался.

– Да? – рассеянно отозвалась Валентина и надолго задумалась.

1

...Райнер выбежал из дома на Басманной и помчался к Каланчёвке. Уязвленное самолюбие, гнев, даже бешенство гнали его по улицам. С яростью лепил он снежки и кидал в стороны. Наткнулся на дворника с лопатой – выхватил лопату и давай бросать снег на обочину. В голове вихрем проносились мысли, подобные этой ночной выюге. Как бесславно закончилась романтическая история с Вале́й! Его выгнали из дома, а она не сделала ни шагу вдогонку. В голове уже складывались ехидные слова, которые непременно ей напишет (да-да, все же напишет!): «Может быть, вы скажете (обращаться к ней будет на „вы“), что у меня сварливый характер? Невоздержан, лезу в политику? И еще страшнее: я „политически болен“? Чем вы будете тогда меня лечить? Вы придумаете эликсир, в котором одна треть смирения, вторая – равнодушие, добавите туда еще терпения, тщательно перемешаете – и готово?! А еще накиньте на меня розовое покрывало, чтобы лекарство подействовало быстрее... Только учтите, мой организм не принимает такого лекарства, оно мне претит, я

по-другому устроен, моя биография... Впрочем, вряд ли вас интересует моя биография...»

Виктор попал на поздний ленинградский поезд. Вошел в вагон, почти пустой. Огляделся и... – вот удача! – узнал знакомого собеседника. Пожилой человек с бородкой – книга под мышкой, очки, заячья шапка, насупленные брови, острый взгляд.

– Добрый вечер! Забыл ваше отчество! – объявил Виктор и присел рядом.

– К чему мое имя-отчество? Дорога – она без имени, поговорим и разойдемся. – Глаза-буравчики ощупали настырного молодца. – Впрочем, зовут меня Никита Ильич. Откуда и куда едешь?

– Еду от девушки, которая мне... нравится, а приехал – и опять рассорился с ее родственниками.

– Из-за чего же?

– А-а-а! – махнул рукой Виктор. – Все из-за проклятой политики. Отец говорил мне: не давай воли языку, а я... Уж не первый раз. Вот вы человек пожилой, большую жизнь прожили, ума набрались, расскажите... Вас тоже политика угнетала?

– Э-э-э, плюньте на нее. Главное не это.

– А что же?

– Э-э, про все рассказать... много слов надо.

– Ну, а все-таки?

Старик разговорился:

– Знаешь ведь ты, что жизнь наша – сражение Бога и Дьявола? Нет, где тебе знать... Не Сталин, не Ленин, не царь, но только мы сами, наши сражения со Злом правят миром... Да еще с такими дурными людьми, каких я встретил.

Голос старика звучал глухо, сдавленно, будто с трудом выталкивал слова. Вдруг сам перенесся в иные сферы:

– Слыхал ты, как в Японии делают? Поживет-поживет человек на свете – и меняет свое имя и фамилию, придумывает себе новую биографию и начинает жить новой жизнью. Так и у меня случилось, ежели обдумать... Было время – отмечали трехсотлетие Романовых. Был я в Калуге. Познакомился там с девочкой, ласточкой!.. И жизнь райской показалась. Это все разные жизни: после смерти отца, после того, как ранило меня, когда бросило в российскую пучину, когда ласточке своей изменил... Россия в тартарары летела. Народ с тормозов сошел. Одни, умники, горячительные слова говорили, куда-то звали; другие, дураплисы, под дудки их пели-плясали. Вот такая кадриль получилась.

– Ну, а вы в какую партию записались? Неужели в стороне остались? Я бы кинулся... – вставил Виктор.

– Может, думаешь, что я в эсеры или в большевики записался? Нет, устал уже я, а когда устанешь, нет воли ни на что, душевная крепость ослабляется. Революция – революцией, но каковы ее последствия?.. Вот тогда-то и попадаешь во власть силы, которой не умеешь сопротивляться.

Собеседник опустил голову.

– Что же было потом? Вас ранило, а дальше?

– Я и теперь еще хромаю. В ногу меня... Попал я в лазарет, под Костромой. Двадцатые годы – ох и времечко было! – Голубые глаза взблеснули и опять спрятались под лохматыми бровями. И рассеянно, словно возвращаясь из темного прошлого, продолжил: – Что дальше?.. Ежели желаешь, могу и дальше... Времечко было веселое, буйное... Россия – она ведь как пучина, все в себя вбирает... Уж такая глушь Кострома, языческие места, однако и там все перетрясли, перетряхнули! Ранили на гражданской, не на мировой. Более года валялся я в лазарете, обе ноги ранены, никуда не убежишь. А ум мой вошел там в особое рассуждение.

– Как это?

– А так, что встретил особенного человека. Лечил меня доктор Шнайдер, хирург. Ничему не верил, кроме хирургических инструментов да смерти, и любил плотские радости, хотя дело свое справлял четко... Говорили-разговаривали с ним часами, ночью. Слова его были заманчивые, сатанинские, пугали меня, однако и влекли. Ругал он русских почем зря, мол, и к пьянству склонны, и себя не уважают, и доверчивы, и прочим людям скорее дорогу дадут, чем сами по ней пойдут. Россия экспериментирует, другим указывает. Только тот ли путь?.. На войне лучшие гибнут, а худшие их места занимают. Русским, говорит, приходит конец. Я спорил сперва, защищал православных, только он побивал меня. Я ему про царство любви Христовой, а он, змий-искуситель,

про то, что стране этой не любовь, а сила нужна. «Поглядите на деревенских баб, да они уже поддались большевистской агитации, готовы в храм вселиться со своими домашними». В тон ему вторили и уборщица, и санитарка... Да, такое дело, видно, поле, на котором сражались Бог и Дьявол, опустело... А Шнайдер все твердил: человек Богу не удался! Не удался, да и все! Прошляпил он человека. Дескать, двойку бы нашему Богу поставить за такую работу. Не удался Ему человек... И нечего на него уповать, действовать надо, волей жить, а не любовью! Мне бы закрыть уши, закрыть глаза, а я... Ну, раз не удался, то чего и стараться, так рассудил... И девочку-ласточку забыл... Нику-Веронику...

При этом имени бородач закрыл глаза и надолго замолк. Виктор не мешал ему уноситься по течению Реки Времени. О, эта Река, эти превратности судеб!

– Любил я ее. Может, и теперь еще... – продолжал старик. – Тогда, в Москве, клятву ей дал. А тут в Костроме появилась сестра милосердия Настя. Настя девка простая, здоровая, и я стал с ней человеком простого разума, – куда подевались духовная семинария, отец Александр, командир фронтовой? И вошло в меня такое рассуждение: плоть-то у меня здоровая, что тебе Илья Муромец, ну и... – Синие глаза старика потемнели, впрочем, судя по глазам, он не так уж был стар, просто седины и сутулость его старили. – Не занудил я вас? Нет? – и взгляделся в собеседника.

– А все-таки забыли вы свою «ласточку», счастливы были

с другой?

– Не о том речь! – сердито оборвал его старик. – Ее я потерял, можно сказать, по своей вине... А еще потому, что прельстил меня тот дьявол речистый, Шнайдер, мол, большевики переделают человека.

– А может, он прав и человек действительно «не удался Богу»? Я тут недавно знаете что вычитал? Мол, все хорошо в мире, а нехороши только мы сами.

– Охо-хо, молодой человек, мало мы в этом смыслим. Долгий разговор затеяли, а гляди-ка... – Он заглянул в черное окно. – Никак, твой Калинин?

Оба всмотрелись в темноту – огней еще было немного.

– Сильна Россия на проказы, – выдохнул старик. – И на греховные, и на святые... – Глаза его, спрятанные в косматых бровях, блеснули. – Знаешь, у кого служила моя Настя прежде? Вот смехота! Помещица ее была Пушкина, родня Александру Сергеевичу, никак двоюродная тетка... Их было две сестры. В 1919 году приехал уполномоченный из района агитировать за коммуны. И что ты думаешь? Обе помещицы согласились, решили имение свое отдать в коммуны. Вот дела!.. А как стали выбирать председателя коммуны, так – подумай только! – одну из сестер и выбрали. Евгенией ее звали. Вот и говори после того, что «человек Богу не удался», – значит, грамотной все же народ доверил дело свое.

– Они жили в коммуне? В лагере у нас один человек напевал: «Коммунары, коммунары, кому – кресла, кому – на-

ры». Ну и как?

– Как? Как везде: коммуна распалась, а сестры бежали... Ну и позлословил тут наш доктор! Мол, даже цвет нации поддался мечтательности... О Господи!.. Знай: главное – не война, не катастрофа. Главное – последствия, то, что люди дуреют. Думаешь, после Гражданской не давали работы только бывшим дворянам да графам? Нет, братец, целое братство, которое поклонялось Толстому, – всех толстовцев разогнали, хотя сам Лев Николаевич не сильно жаловал Бога. Что уж говорить о церкви? «Опиум для народа» – и долой его! – сказали большевики. А я-то, я, грешник? Из семинарии ушел. Священником не стал, хотя отцу обещал... Да и про Веронику, ласточку, почти позабыл. Каково?.. И все едино – в тюрьму попал... – Он взгляделся в молодого спутника, за окно, сощурился: – Твоя стоянка?

Виктор опустил голову, подумал о своем теперешнем житье:

– Там у меня тоже что-то вроде тюрьмы... Пора! Прощайте!

Поезд замедлил ход, и Виктор соскочил на платформу.

2

Несмотря на то, что была глубокая ночь, Райнер бодро шагал по обледеневшим улицам Калинина. Снег слепил глаза и мысли, стремительно и густо падал на землю. Потерял лю-

бимую девушку и повстречал такого любопытного человека! Каково? Однако, зная в себе способность внезапно вспыхивать, очаровываться и так же быстро приходить в отрезвление, старался себя укротить.

Трамваи не ходили, и добираться до дома на окраине пришлось долго. В голове прыгала все еще фраза старика: «Человек Богу не удался!». Его собственная мысль или того хирурга?

А все же не согласен он с этим! Дело не в том. Просто природа так богата, так щедро награждает каждого, что в одном человеке как бы сидят несколько разных человечков. Это в книгах только положительные да отрицательные герои, а в жизни... Сколько существ, к примеру, свили себе гнездышко в его душе? Любознателен? Да, так велел отец... Однако и напрасного, пустого любопытства тоже хватает. А эта его неводержанность, горячка? Темперамент – это неплохо, но зачем же ссориться с родными, знакомыми девушки, которая нравится?.. Он не трус, даже храбрый, – только разве ляпать все, что думаешь, – это доблесть? Как избавиться от дурных замашек? Если не ловчить, то прослывешь простаком, если выкладываешь все напрямую – покажешься дураком. Не сумеешь польстить (вот чего он не умеет!) – не будешь слыть приятным человеком... А в любви? Ты целомудрен? Но ты же развратник в мыслях, а то и в поступках...

Черт и Дьявол хозяйничают в душе? Или все же Бог (если он есть) сделал так, чтобы человек сам, по своему разумению

извлекал из своего существа нужные качества?..

Виктор приближался к домику на окраине. Предстояло самое неприятное – встреча с «семейкой», придется будить хозяйку Бабу-Ягу. Сколько раз просил дать ему ключ, но та только метнет в его сторону крохотные глазки – и молчок.

Вот и поворот в переулок. Сугробы – выше головы. Что-то ждет его? Переполненный впечатлениями нынешней ночи, он твердил: «Эх ты, дурья башка, липовый Дон Кихот! Тина назвала тебя этим именем, только далеко тебе до испанского рыцаря. Взять бы саблю да сразиться с обитателями нечистого домика! А ты... даже переехать от них не можешь».

...Хозяйка нечистого домика не спала, сидела на табуретке у окна, сложив руки под большим животом, болтая в воздухе короткими ногами. Один глаз спит, второй приоткрыт – постоянное состояние, поза Трофимовны. Смотрит в окно, на улицу – ничьего появления не упустит. Особенно ждет милиционера Павла Ивановича.

Вот и нынче он заходил. Как увидела – с необычайным проворством соскочила с табуретки и перекатилась в сени:

– Здравствуй, Павел Иванович, проходи, будь гостем.

– Некогда мне с тобой лясы точить, – отвечал тот. – Где постоялец-то? Кто к нему ходит?

– Один, как волк! Никто не ходит, только сам все куда-то ездит. Ох, темный человек!

Ей страсть как хотелось выведать что-нибудь у участко-

вого, но Павел Иванович службу знал, лишнего не болтал. Хитрые глазки Трофимовны сощурились, пропали в квашне лица. Сказать, что она своей волей написала письмецо в Москву, по адресу, который видала на его конвертах? Письма были от девицы по имени Валентина. Всего только две фразы и написала-то, но если та не дура, все поймет: квартирант ее – то ли политический, то ли отец его ссыльный, но ни к чему о том болтать милиционеру.

Милиционер помахал ключиком в воздухе:

– Так скажешь, чтоб зашел твой квартирант ко мне в участок, – и неспешной походкой направился в свою «епархию».

Проводила его Трофимовна, заглянула в почтовый ящик, и опять села у окна: ни мужа, ни дочери нету... Так и дремала, ожидая возвращения постояльца.

С трудом удалось Виктору открыть занесенную снегом калитку. Постучал. Гроыхая задвижкой и ворча, в сени вышла хозяйка.

– Здрасьте, Зоя Трофимовна. Извините, что поздно... Ключа-то нет.

Оглядев пальто, шапку, она буркнула:

– Отряхнись сперва, нечего мокредь в избу носить.

На крыльце он сбросил пальто, встряхнул и вернулся:

– Новости есть?

– Есть, на столе лежат. Картошка в чугушке в печи стоит.

– Спасибо, я сейчас, разденусь, – и толкнул дверь в свою комнатку.

Вошел, перевел дух, хотел сесть, но увидел на столе казенный конверт: «Милиция! Опять в милицию! Регистрация? Эх-ма!». И бросился ничком на кровать.

Вечером вокруг буржуйки

Зима в тот год заледенила Москву. Вокруг тротуаров выросли сугробы, словно покрытые алюминием. Некоторые завели маленькие железные печки с трубами, выходящими в форточки. И вечерами жители садились вокруг стола, покрытого китайской скатертью (по радио пели «Сталин и Мао слушают нас...»), к тому же всегда находилось уютное местечко для китайского болванчика, – и затевали какую-нибудь длинную карточную игру: «козла», «66», преферанс...

Вот и в квартире Левашовых задумали провести вечерок в таком же роде.

– Никуля, давай позовем верхних соседей, Полину Степановну с Сашей, и забьем... настоящего «козла». А? Дровишки для буржуйки я уже заготовил, – сказал Петр Васильевич. Жена без восторга приняла предложение мужа, поморщилась.

И скоро Саша и Валентина (которые чуть не месяц дулись друг на друга) оказались в теплой компании, совсем рядом. Локти их касались друг друга, а взгляды нет-нет и перекрещивались.

Но тут Вероника Георгиевна объявила:

– А не лучше ли нам заняться кое-чем поинтереснее? – на лице ее возникло заговорщическое выражение. – Кое-кто из нас прожил так много лет, что в головках накопилось множе-

ство всякой чепухи, разных историй, баек, стихов, случаев... Что если пойдем по кругу, выбирая, что полюбопытнее, да и расскажем? С кого начнем? Петька, может, ты вспомнишь про Магадан? Про девочку Нину, такую маленькую-маленькую, которая по пути из школы в полутьме так пела-распевала – а морозы-то там не то, что у нас, – что ей, да и другим, становилось тепло и не страшно?

– Так ты, можно сказать, все уже и рассказала. Я-то не мастер.

– Ты? Да ты же... помнишь ученого, кажется, Трубецкой... его уже выпустили, но он оставался там, в ссылке, и – «минус материк».

– Что такое «минус материк»? – оживилась Полина Степановна. Была она подмосковная сельская учительница и не имела понятия о местах отдаленных.

– А это выпускают, например, арестантов из места заключения, назначают срок проживания в окрестных местах, но запрещают ехать в центр России, вот это и есть «минус материк». А князю надо было подготовиться к встрече...

Петр Васильевич не был любителем подробностей, но про девочку Нину, лет шестнадцати, все же добавил:

– Она шла, а навстречу ей – уже освобожденный Трубецкой. Он остановится, послушает ее пение, а потом разговаривает с ней. Давно он «с материка»: ему все интересно, а она – и про кино, и про китайцев, и про любимую свою биологию... Так постепенно и возвращался к жизни. А она-то,

она – как ничего не боялась? И поговорка у нее была: я маленькая птичка, но гордая! И опять поет.

– Саша, теперь твоя очередь, – напомнила хозяйка. – Готов?

На лице у Саши отражались языки пламени буржуйки, и цвет лица был красно-бронзовый.

– Я – коротко. – Он провел рукой по волосам. – Короткая, но страшная история, а рассказал мне ее один моряк, который служил недалеко, в Анапе. Когда фашисты заняли эти места – а там лечили больных, у них костный туберкулез... они собрали всех, погрузили в машину, отвезли за город... и там всех сожгли. Вот вам фашисты, немцы – чтобы, значит, не стало заразных... Все. Кто следующий? Тина-Валентина, отличница, чемпион по чтению! Облегчишь настроение, которое я посеял? – Саша пристально смотрел на нее.

Лицо ее покраснелось, глаза посинели, сверкнули, скрестившись с его карими глазами.

– Я? – голос ее ослаб, в горле что-то всхлипнуло, она прокашлялась и, помолчав, все же заговорила: – Представь-те себе: Париж, девятнадцатый век, скорее, уже конец века. Один русский, то ли писатель, то ли артист, спрашивает: «Как пройти к Булонскому лесу – не подскажете?» – «Вам какой нужен Булонский лес? Есть детский, утренний, есть поздний, для молодых людей, а есть – для тех, у кого все в прошлом». – «Да, да, именно он мне и нужен!» – воскликнул русский гость. «А-а, тогда вам вон в ту сторону!» – ответили

ему, и он направился в ту часть леса. И что же он увидел? Дама, весьма преклонного возраста, в темной шляпе сидела на скамейке. К ней подошел стройный пожилой человек, поклонился, не сказав ни слова. Но русский гость заметил что-то знакомое в его лице. Тогда он отправился на то же место и в то же время на следующий день, и на третий день. И прохаживаться стал гораздо ближе. Дама взглянула на немолодого господина и негромко приветствовала его: «Добрый день, господин Дантес. Вы не знаете меня, но я – мадам Катрин Керн, дочь той, которой наш Пушкин посвятил стихотворение „Я помню чудное мгновенье...“ Прощайте, месье Дантес»...

– О! – воскликнула Вероника Георгиевна. – Дочь моя, да тебя не узнать! И выбор, и новелла – выше всяких похвал.

А Тина стала оправдываться:

– Да я это прочитала в одной книжке.

– Какое имеет значение, где ты прочитала! – Саша пожал ее руку. – Ты молодчина. Надо же столько читать... Валюша, а может быть, тебе по силам будет и самой писать?

– Что ты, да и зачем? Столько хороших писателей! – еще больше смутилась она.

– Не боги горшки обжигают, дорогая... – Вероника Георгиевна поцеловала дочку. – А теперь, кажется, очередь моя?

Она расплылась в одной из своих очаровательных улыбок.

– Ты спрашивала меня о генетических беседах, о том, кто разрезал мой платок. Хочешь, расскажу? Но это будет долгая

история. Если Петруша подаст нам чай с вареньем собственного приготовления и будет молчать, я, пожалуй, справлюсь, а вы высидите...

Быстро были поданы чашки, но не с вареньем, а с сахаром, а к чаю – черный хлеб и крабовые консервы (они тогда продавались во всех магазинах).

И Вероника Георгиевна, разгоряченная и от чая, и от буржуйки, начала:

– Только не думайте, что это обо мне, это история моей кузины... В двадцатые годы, нагнадевшись на уличное хулиганство, потеряв полдома, один генерал решил увезти детей своих и жену с сестрой в Париж. Моя кузина заупрямилась, умоляла повременить хотя бы полгода. Ей надо было навещать кое-куда на Долгоруковскую улицу, узнать, нет ли писем. Тем временем семья ее все же покинула Петроград. И моя Мадлена осталась одна в одной из восьми комнат отца – в прочих проживали пролетарии, труженики фабрики Брокера... Были там и сотрудники ЧК, и один из них, вполне приличный на вид, носил даже белую рубашку. И он зачастил к Мадлене. То угостит ее ячменным кофе, то ландринном, то поднесет букет. Если что случится – именно этот, в белой рубашке, ее спасет, – думала моя кузина и улыбалась. У них возникли романтические отношения, она читала ему стихи, иной раз играла на пианино.

– А как его звали? – спросила Валя.

– Какая разница? Коля, Гриша... Главное, он вел доволь-

но странный образ жизни: по ночам где-то пропадал (говорил, что работает в угрозыске), а днем – чуть поспит и вечером стучится к нам, к Мадлене. И не без робости. Однако – не с пустыми руками. Сахар, печенье – с фабрики Сиу, духи, кремы...

А она читала и читала ему в благодарность стихи или рассказывала что-то из гимназической программы. Например, приводила слова Пушкина – мол: «несчастья – хорошая школа, но счастье – лучший университет, ибо он довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному». Кузина читала ему и Лермонтова:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой...

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез:
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

Приходилось, конечно, пропускать слова о Боге, но с особым чувством произносила она слово «ангел».

В комнате было не просто тепло, а жарко. Петр Васильевич не спускал глаз с жены и не забывал помешивать полешки. Валя заметила, что отцу не по себе. Уж не касалась ли его

эта история? И под именем Мадлены не скрывалась ее мать?

Метнув на мужа укрощающий взгляд, Вероника продолжила свой рассказ:

– Однажды Григорий – или как его там – принес и положил на стол драгоценную брошь – лилию с инициалами нашей фамилии. Моя кузина обомлела, но мы ничего не сказали. Очевидно, обыскивая очередной дом, он прикарманил ее... А моя кузина обладала сильным характером, никому ничего даже в те годы не прощала, – и она решила проучить этого выскочку. Что она придумала? Настоящая женщина! В следующий раз попросила чекиста принести большой букет настоящих роз... Он был в белой рубашке (тоже, должно быть, краденой, батистовой), с огромным букетом роз. Я смотрела на него с омерзением. А Мадленочка изобразила влюбленную, вынула старую коробку из-под конфет и приказала этому остолопу крепко-крепко ее обнять. При этом розы оказались между ними, а она сама защищена коробкой. Этот нахал со всей силой прижал ее (и розы) к себе – и шипы вонзились в него, в его белую рубашку... Кузина захохотала, глядя, как проступают красные кровавые пятна: «Ой, что это у вас? Ах, как жаль, как жаль! – А кровь расплывалась, даже капала. – Немедленно идите в ванную комнату и убирайте следы преступления! И знайте: это фамильная брошь моей семьи, и ей не менее двухсот лет! А вы – ничтожество!». Он лепетал что-то, мол, к нему это не имеет отношения, он просит простить. С того дня молодой человек исчез из нашей

квартиры.

И тут Вероника Георгиевна расхохоталась!

– А как же шелковый платок, его подарок? И кто его изрезал? – подала голос Тина.

– Как? Хм! Может быть, он же его и разрезал, а может быть... мой муженек из ревности, гораздо позднее...

«Мамочка, – думала Валентина, – а не сама ли ты все это совершила? И никакой кузины Мадлены не было? А этого человека ты, может быть, любила?»

Она вспомнила и о двух шкатулках с инкрустациями – ведь одна, должно быть, осталась у него?.. И это была главная ее любовь?

– Ты его больше, мамочка, не видела?

– Все мужики предатели, предатели! – Вероника Георгиевна взмахнула веером, стукнула им по буржуйке, и веер разлетелся на мелкие кусочки.

«А как же отец?» – с горечью подумала Тина.

Глава вторая. Неведомые тайны. Сталин

«Сальери» тот – «Сальери» этот

Вернувшись из загородной поездки в музей, Филипп привез подарок – мужской портрет весьма загадочного вида. Это был человек в черном парике, с недобрый, изможденным и волевым лицом, в руке – гусиное перо, рядом свеча, на секретере то ли ноты, то ли книга.

– Не нравится, – заметил Петр Васильевич.

– Он похож на Сальери, – сказала мадам. – И еще кое на кого...

Тину-Валентину, напротив, что-то привлекло в портрете.

– Мне кажется, это музыкант... Но не Сальери. Давайте повесим его над пианино. Он так строго смотрит, что невольно будешь лучше играть. Такая ироническая полуулыбка...

– О чем вы говорите? Надо выяснить главное: в каком веке, в какие годы написан портрет, кто художник, а вы... По моему, это начало двадцатого века, – кипятился Филипп.

– А по-моему, это Гайдн!

– Опять ты... Беда в том, что портрет не закончен! – сердился Филя. Он даже позвал Сашу: – Взгляни, что ты дума-

ешь об этом портрете?

Саша впервые после того вечера у буржуйки был в их квартире и более смотрел на Тину, чем на портрет. Будто хотел что-то прочесть в ее лице. Изобразив внимательного зрителя, критика, со всех сторон обойдя картину-портрет, сказал:

– Я бы на вашем месте спрятал его куда-нибудь подальше.

– Ну вот, как всегда, я чего-нибудь хочу, а вы все... – обиделся Филя. Однако внял общим советам, и они с сестрой водрузили портрет за шкаф.

Уходя, Саша взял Валины пальцы, взгляделся в ее лицо:

– А здорово ты тогда говорила про Дантеса. Может, и правда тебе писать?

– Дневник только, куда мне до литературы!

– Как экзамены, на пятерки?

– Ты забыл, что экзамены еще не начинались?

Опять размолвка? И опять ни из-за чего...

* * *

Январско-февральские учебные бои-будни приближались к концу, впереди маячила новая сессия. И вдруг, как землетрясение, как взрыв, – весть из Кремля: болен Сталин!

Как, Всемогуший, Вечный, Недосыгаемый, Неуязвимый для чужой воли, злых умыслов болен? Всегда спокойный, не подверженный сомнениям (лучше ошибаться, чем сомне-

ваться), обитавший в кремлевских высотах, каждое слово которого на вес золота... Он может умереть? Оторопь, ощущение охватили всех.

Страна приникла к радиоприемникам, и голос диктора, говорившего лишь о чрезвычайном, голос Левитана разорвал воздушное пространство: «В ночь на второе марта у Сталина произошло кровоизлияние... Установлено повышенное артериальное давление. Обнаружены признаки расстройства дыхания...»

Люди слушали радио, еще не в силах поверить в страшную весть. «Во вторую половину дня пятого марта состояние больного стало быстро ухудшаться...» Страна погрузилась в молчание, прерываемое рыданиями, – слез не стеснялись даже убеленные сединами генералы. Газеты печатали фотографии митингов на заводах, в колхозах: хмурые, скорбные лица, белые платки возле глаз...

...Никто не знал, что на самом деле происходило с вождем, как этот всемогущий человек был низвергнут самой жизнью. «Низвергнут» в буквальном смысле слова. Он сутки лежал один на полу, возле дивана, на своей ближней даче в Кунцеве, этот скрюченный, маленький человечек, бесильный и теряющий память.

Мартовская сырость проникала в комнату, в легкие больного, затуманивала сознание, застилала глаза. За окном слабо качались деревья, и это рождало сны, похожие на явь. В его воспаленном мозгу вспыхивали и гасли искры – момен-

ты прожитой жизни, разрозненные минуты.

Обрывки так терзавшей его всю жизнь Истории.

Бакунин говорил, что в России могут быть только три типа правителей: Пестель, Пугачев и Романов, но разве он, Сталин, не соединил в себе всех трех?.. Потом ему примерещился Романов – что-то общее, считал, было у них: рыжеватые усы, невеликий рост, негромкий голос, паузы, смущавшие собеседников... Окружение Николая проворонило Россию, а он, Сталин, понял, что Россию-матушку, как женщину, надо держать железными руками – иначе злопыхатели, изменники всех мастей поглотят... Царь был слишком мягкосердечен, его окружение – постыдно, безвольно... не поняли ничего!..

Плеханова когда-то упрекали: «Ленин – ваш сын». Он отвечал: «Незаконный». Настоящий, законный сын Ленина – только он, Сталин!..

Порыв ветра ударил в стекло, ветки коснулись окна, деревья зашатались, и мысли вновь переполошились... Что за базар? Или это звуки партийного съезда? Политбюро? Голоса разрывали голову – и вдруг снова все стихло...

Он узнал, хорошо узнал, в чем тайна власти. Все эти Тухачевские, Раскольниковы – Наполеоны липовые. Да и Троцкий с Бухариным, и Радек с его умом... Вождь сказал: «Бухарина мы любим, но истину, но партию мы любим больше...» Как тот раскаивался, рыдал, однако – на допросе все подписал...

Что теперь станет со страной? Неужели и меня, как царя, предадут, нарушат партийную клятву? И империя распадется, как после Николая II?

...Ветер утих, и волглый туманный воздух еще крепче окутал ближнюю дачу. Утомленный ум на время успокоился, но голова, голова готова была разорваться на мелкие осколки.

Сталин лежал на полу. Ему было холодно и одиноко. В огромной чугунной голове, как в догорающей печке, пронзительно вспыхивали искры-проблески ясного сознания... Религия? Когда-то семинария была его альма-матер... Только не способна религия изменить человечество – человек как был, так и остался, в сущности, язычником. Маркс, Ленин подарили людям новую религию – коммунизм, манящую подобно раю. Взамен религии – что она, как не сон золотой? – придумали мечту о коммунизме, который снился людям тысячи лет. Ленин совершил революцию, на алтарь ее бросив миллионы жизней... Ему, Сталину, выпало материализовать мечту о коммунизме, который можно построить только за железным занавесом. А если окружение этого не допустит?

Маркс и Энгельс написали слова о будущем, но в Европе не видать призрака – одна Россия, Ленин «клянули» на приманку... Впрочем, разве народу, людям, такой многонациональной стране, как Россия, не требуется мечта, далекая, как горизонт? Возвышающий обман – не лучше ли реальных

истин?

Где-то стукнула форточка, хлопнула дверь, и новый порыв ветра пробежал по полу...

Сталину всегда удавалось сохранять невозмутимость, спокойствие (потому он и взял фамилию «Сталин»), он никогда не терял чувства реальности, и его молчаливое тихое обдумывание ответов заставляло замирать сподвижников...

Внезапно в раскаленной голове всплыл образ генерала де Голля: они встречались в дни раздела Польши. Генерала угощали всю ночь яствами, беседами, фильмами, а когда тот потерял остроту восприятия, Сталин сказал: «Господин де Голль, Молотов замучил вас разговорами? На него бы пулемет... А знаете, зачем нам нужен большевизм? Чтобы навести мосты между Европой и Азией, это временная мера, – великий Китай с нами, – разве не к этому стремится континент?».

Снова сознание человека с желтым лицом и рыжими усами затуманилось, потемнело – «печка» догорала. Но вот последняя головешка переломилась, треснула, выбросив новый язычок пламени, и – потухла: сознание покинуло жестокий и властный мозг...

Утром газеты сообщили: «Во вторую половину дня пятого марта состояние больного стало особенно быстро ухудшаться: дыхание сделалось поверхностным и резко учащенным, частота пульса достигла 140–150 ударов в минуту, наполнение пульса упало.

В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Иосиф Виссарионович Сталин скончался...»

Похороны назначили на 9 марта. Тысячи людей из разных уголков страны бросились в Москву, чтобы проститься со своим кумиром. Люди осаждали поезда. Не имея знакомых, не зная Москвы, они растекались по московским вокзалам, вытирая слезы.

Петр Васильевич, глядя на сухие глаза жены и дочери, вздохнул:

– Ну, Верочку я понимаю, не ждал другого, но ты, дочка, почему такая бесчувственная?

Валя и сама не могла объяснить, почему, она не плакала – только это не было признаком безразличия. Скорее разумного рассуждения (увы! ум ее часто властвовал над чувствами): какой смысл плакать, когда надо думать, что делать, как они будут жить. Теперь, как никогда, нужны честные работающие люди. Она подошла к рябому подполковнику, своему начальнику, и сказала:

– Когда умер Ленин, объявили ленинский призыв в партию. Я хочу подать заявление в партию.

– Молодец! Ты же комсомолка? Так что давай.

Она сказала об этом Саше, он тоже ее одобрил:

– Ты достойна, Тина. Ты у нас такая серьезная, что... я рядом с тобой – так, легкомысленный романтик.

Она потупилась, замолчала, хотя могла бы сказать, что именно такой легкомысленный романтик ей ужасно нравится, но – разве могла она это сказать?

– Между прочим, – вспомнил он, – тогда, первого января, в прошлом году – помнишь? – твой ухажер напророчил смерть Сталину – он что, колдун?..

– Какой он колдун? Просто совпадение. Ведь и мама моя запретила повесить портрет черного человека, мол, не к добру. Помнишь «Сальери»?

– Послушай! Я стихотворение сочинил, можно? – и он прочитал несколько строк, полных энергии и оптимизма; там была и такая строка: «Но наша скорбь нас не лишила силы». Это как раз отвечало ее настроению.

– В общем, я бы голосовал за то, чтобы тебя приняли в партию.

На этом они расстались – в те дни никто надолго не оставался, все спешили: девятого числа похороны Сталина.

Сашина мать лишь на несколько минут забежала домой, чтобы взять черную шелковую юбку: нужен был черный бант для портрета Сталина. Ей дали билет в Колонный зал, и она стояла целых три минуты возле тела великого вождя.

Лица его почти не было видно, с высокого постамента спускались водопады цветов, притушенные черными лентами. Звучала музыка, от которой разрывалось сердце. Люди медленно, без остановок, сопровождаемые военными, двигались в строго определенном порядке.

Бывшая воспитанница детского дома силой воли удерживала слезы. Покидая беломраморный зал, она увидела человека с этюдником и небольшой холст. Он поразил ее: то был лик Сталина, похожий на скифскую золотую маску, весь в цветах. В этом сочетании живых цветов и древней маски было что-то противоестественное, праздничное, и она отвела взгляд (она не знала, что то был художник Иогансон). И вечером записала это в своем дневнике.

Вся двухсотмиллионная держава пребывала в скорбном молчании, раздавались пятиминутные гудки паровозов, паровозов, заводов. Поэт Маршак читал по радио стихи:

Гудков и залпов траурный салют,
как ураган, несется по Отчизне.

А в Москве люди шли и шли к Колонному залу. Их не могли остановить ни милиция, ни пригнанные для ограждения грузовики. В толпе был и Саша Ромадин вместе с товарищем. Они уже приближались к Трубной площади, когда их стали теснить грузовики. Слышались крики, началась давка, и Саша оказался притиснутым к старому дому. Он извернулся и прыгнул к подвальному окну, упав на что-то мягкое. То была целая куча галош! Как они сюда попали, почему? Не успел задуматься, как на него надели, и стало трудно дышать. И тут же из окошка высунулась чья-то рука, потянула его за воротник, и раздался сдавленный старческий голос: «Лезь

сюда! Скорее – там есть чердак!».

Он забрался к старушке, потом вскарабкался на чердак. Взглянул сверху на улицу. Черная толпа колыхалась словно море, из стороны в сторону. Раздавались сдавленные крики, стоял гул. Саша понял, что он избежал самого страшного. Быть раздавленным толпой.

Где-то рядом услышал всхлипы. В полутьме разглядел девушку:

– Кто вы, что тут делаете?

– То же, что вы, – шепотом отвечала она.

От страха и пронизывающего холода девушка вся дрожала. Саша решил обследовать чердак и – удивительно – обнаружил трубу с горячей водой.

– Идите сюда, тут тепло! – позвал он девушку.

Они устроились у трубы и постепенно разговорились, отряхаясь от черных мыслей. Звали девушку Аля, Алла, она училась в пединституте и мечтала рассказать своим первоклашкам про сегодняшнее событие, а теперь... «Что я им скажу?»

Темнело. На улице стало пусто. Снег, лежавший на земле, почти растаял. Но что это недвижно лежит на снегу?.. Стало жутко. Алла плакала: «Ой, я боюсь... мама будет волноваться».

Надо было как-то отсюда выбираться. Саша попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Наконец, усталость и тревожления сморили незадачливых сталинистов – они усну-

ли...

Сталин унес с собой свои великие тайны.

У Ленина не было никаких тайн, его путь был прямой, как стрела: уничтожить самодержавие и все, что с ним связано, самому стать самодержцем, царем пролетариев, указать пути к социализму и коммунизму. Он находился под обаянием «Коммунистического манифеста», хорошо помнил слова Маркса: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Однако ни Маркс, ни Энгельс никак не связывали тот призрак с далекой, полуазиатской Россией... Образовалась благоприятная ситуация: Первая мировая война, февральская буржуазная революция, отсутствие сильной власти – отчего не воспользоваться? Ленин сказал: «Цель оправдывает средства», «Мир хижинам – война дворцам», – и пошла коса по российским просторам.

Учредительное собрание, голосование? Но у партии большевистской мало голосов, значит – разогнать демократическое Учредительное собрание.

Царь и его дети? Чтоб не мешали, расстрелять!

Кулаки? Эксплуататоры, долой их! Церковь? Опиум для народа, изъять ценности, а священников – в лагеря.

У Ленина все было легко и просто и никаких тайн. Расплата, кара? Да не будет ничего такого!..

А расплата, оказалось, была. Пролетарство всего пять лет, Ленин впал в младенческое состояние, и ни у кого не

хватит фантазии представить, о чем он думал в минуты просветления.

Зато Сталин весь состоял из тайн. Как сохранить в целостности первую «страну социализма», окруженную враждебными силами? Первое: конечно, расчистить путь, смести оппозиционные партии, всяких там Бухариных и Троцких. Второе: наполнить молодые души энтузиазмом. Те повторяли слова его клятвы: «Уходя от нас, Ильич завещал нам... учиться, учиться и учиться...» и т. д. Третье: готовиться к войне, ибо фашисты уже грозились завоевать всю Европу... Для этого аграрную страну превратить в индустриальную...

Разве не тайна до сих пор то, как случилось, что народ двадцатых годов был одержим энтузиазмом, а в тридцатые годы – героизмом, готовностью совершать подвиги в случае войны?..

Даже ГУЛАГ, эти сотни и тысячи сосланных – тоже тайна, великая тайна, ведь кто-то проклинал, а кто-то оправдывал, считал ссылку вынужденной мерой на пути к коммунизму.

...А жизнь, однако, как и положено ей, продолжалась.

Кончились траурные дни – и люди обратились к собственным проблемам. Однажды Левашовы собрались за чайным столом, и Вероника Георгиевна спросила:

– Ну как, отревели свои слезки?.. – Затем обернулась к шкафу, где стоял портрет черного «Сальери»: – Не пора ли нам водрузить сию картину над пианино? – и, театрально

воздев руки, закончила: – Сальери был – Сальери больше нет! Теперь он не опасен.

Саша и Тина молча переглянулись.

Силуэт на фоне солнца

Мартовские события ураганом пронесли по стране. Торжествовал Виктор Райнер. Ведь он когда-то собирался ехать в Москву, чтобы убить, да-да, убить Сталина, – а теперь он рыдал... Натура его действительно была противоречивая. Виктор винил себя за дурные предсказания в тот новогодний вечер. Тем более что, всматриваясь в лица преемников в газетах, не находил достойных. Особенно неприятен был Берия, но именно он первым шел за гробом Сталина, похоже, уверенный в будущей власти.

Виктора охватило раскаяние, и он написал письмо Валентине, прося прощения за прошлое и предлагая встретиться и объясниться. Почему она согласилась, она и сама не знала. И в один из ясных майских дней они встретились в саду «Аквариум».

Еще не зашло солнце, но уже серебрилась луна. Деревья в «Аквариуме» стояли пышные и прозрачные.

– Ты прости меня, Валюша. – Он порывисто схватил ее руку.

Она сказала о письме его хозяйки.

– Что она тебе написала?

– Что ты не тот, за кого себя выдаешь... Как это понять?

Виктор взорвался:

– Мало того, что она следит за мной, а дочь ее негодяйка,

мало того, что я регулярно являюсь в милицию, – еще и тебе!

– Почему ты являешься в милицию? – Валентина настоярожилась.

– И я еще каюсь, считаю себя виновником предсказаний! Лью слезы!.. А все это его система, его порядки!.. Эх, Валюша, знала бы ты!

– Что бы я знала?

– Да то, про что я тебе уже говорил, намекал. Чтобы ты поняла, я должен рассказать всю свою жизнь.

– Почему? Только так?

– Потому. Ты готова меня слушать?

– На улице не холодно, давай.

Она села на скамейку, расстегнув серое габардиновое пальто, голубая косынка обнимала шею, светлые фиалковые глаза с пристальным вниманием смотрели на Виктора, каштановые волосы ее были гладко зачесаны назад.

– С чего начать? – Он поднялся, стал прохаживаться вдоль скамейки. – Я пытался дать тебе понять... Пытался открыться, но никто не хочет понимать того, что ему чуждо, что не касается его самого. Все же теперь, когда не стало Усатого, когда до нас доносятся факты о невинно пострадавших, может быть, ты поймешь... Помнишь: «Счастливы мы, где любят нас и верят нам»? Ты должна верить. Все, что я расскажу, – правда, все пережито... И таких историй, какую я расскажу, – сотни, тысячи... Понимаешь, мы выходцы из Лифляндии, с Балтийского моря... Когда дед был еще мальчиш-

кой, четырнадцать лет, ему дали сто рублей и сказали: «Иди и добивайся всего сам. Своей головой, своими руками. Станешь лоцманом – вернешься назад». Он стал юнгой и поступил на корабль.

Виктор присел, стараясь укротить свой воодушевившийся бас.

– Служил со всем старанием, был на хорошем счету, капитан к нему благоволил. Однажды на корабельном балу увидел дочь капитана и с первого взгляда влюбился. А капитан не из простых, имел титул барона, так что брак был бы неравный. Но у капитана одиннадцать дочерей – где для всех наберешь баронов? Молодой моряк пришелся по сердцу девушке – и отец согласился на их брак. Родилось у молодых трое детей, и один из них – мой отец Петер Эрнст. Он вырос, выучился на юриста и... Не знаешь ты, Валечка, что в то время, в начале века, для выходцев из Лифляндии Россия охотно предоставляла земли и работу в отдаленных уголках страны. И отец решил отправиться на поиски счастья. Он вообще был «человек с идеей», а идея его была простая – разводить пчел. Узнав, что хорошие условия для пчеловодства в верховьях реки Лепсы, в Казахстане, отправился туда. Не скучно тебе, Валюша? Нет? Хорошо. – Слегка заикаясь, он продолжал: – Так вот, железной дороги тогда не было, и добираться пришлось на лошадях целых полгода. Но идея есть идея: поселился он в Лепске, стал работать следователем... Однако тут началась Первая мировая, его взяли в ар-

мию. Пчел он поручил брату. Когда же вернулся – все пчелы погибли. Позднее он не раз мне твердил: «Никогда не заводи того, чего сам не можешь довести до конца, рассчитывай только на свои возможности». Еще он говорил: «Жизнь – как река, но не следует плыть лишь по течению. Борись с течением, но и умей переждать непогоду в тихой заводии». Тут я, кажется, забежал вперед... Рассказывать дальше? – он схватил ее руку: – Ой, какая холодная! Сейчас согреем! – и принялся растирать и целовать ее пальцы. Тина осторожно освободила руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.